

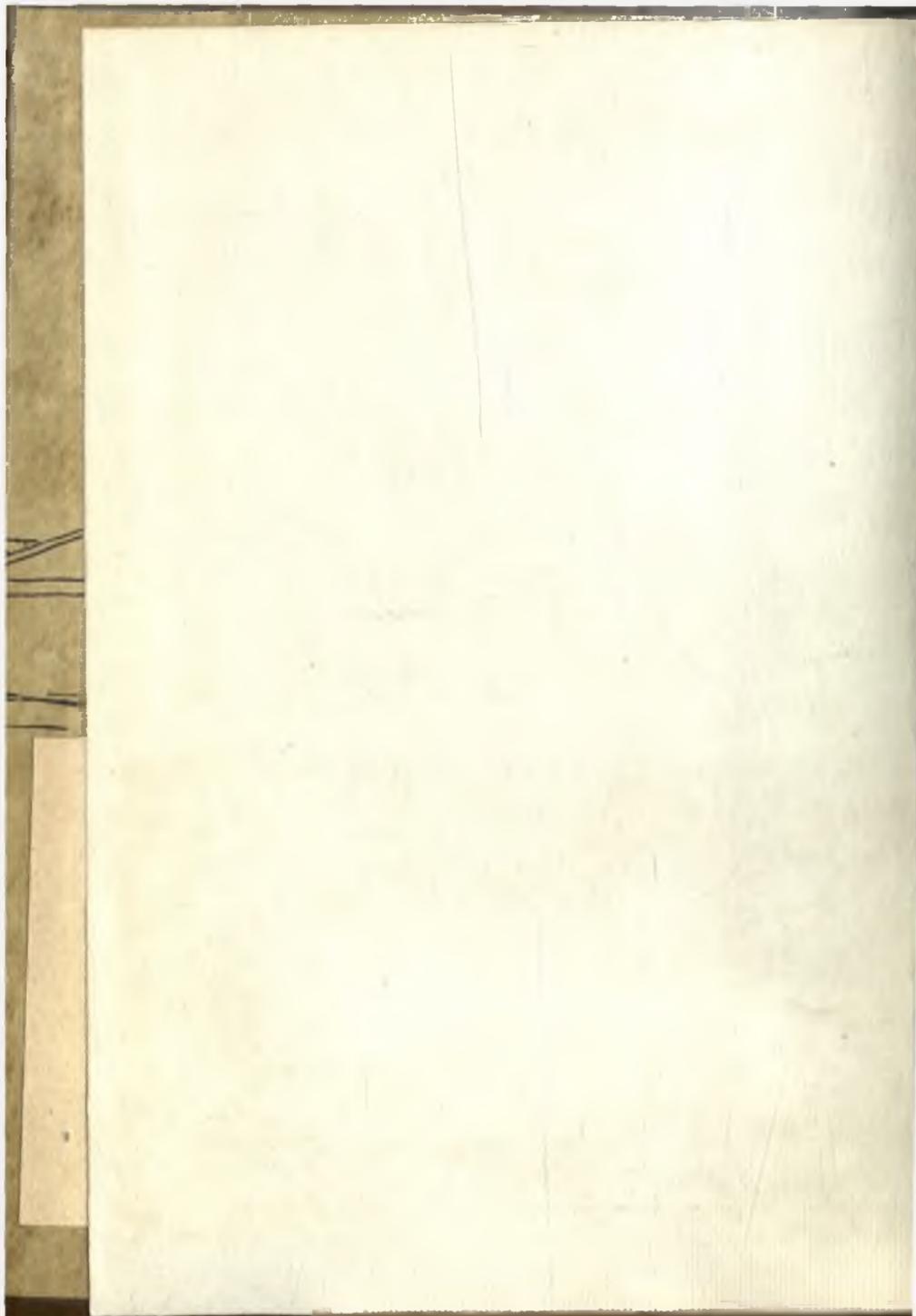
6324
K83-43

12+

Ю. Курочкин

УРАЛЬСКИЕ НАХОДКИ





Ю. КУРОЧКИН

63.3 - 43
к 93

УРАЛЬСКИЕ НАХОДКИ

КЛАДЫ БАБУШКИНЫХ
СУНДУКОВ

ПОД ЗНАКОМ ЗОЛОТОГО
КЛЮЧА

ВОКРУГ МАМИНА

ЗАБЫТАЯ ДРУЖБА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ

ДЕЛО ЛИПРАНДИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «МАДОННЫ»

УРАЛЬСКИЙ ВОЯЖ ПОЭТА

Красноуральская ЦБС
Свердловской обл.

Свердловск, Средне-Уральское
книжное издательство
1982

+ 01501

x

+

«Уральские находки» старого журналиста и увлеченного краеведа Ю. Курочкина — результат многолетнего целенаправленного поиска материалов о культурном прошлом нашего края.

Так, встреча с «бабушкиным сундуком» в одной современной семье помогла найти интересные данные о музыкальной и театральной жизни на старом Урале. Понски в столичных и местных архивах и библиотеках принесли находки новых материалов к биографиям наших писателей-земляков Д. Н. Мамина-Сибиряка и Елизаветы Гадмер и рукописей И. П. Липранди, знавшего Пушкина в дни его южной ссылки. Найденные протоколы масонской ложи Золотого ключа в Перми привели к знакомству с кругом лиц, идейно близких делу замечательного русского просветителя Н. И. Новикова. А за рассказом об истории тагильской «Мадонны» вскрывается многовековая история приключений одного из шедевров великого мастера Возрождения Рафаэля.

Итогом глубинного поиска является и рассказ о путешествии по Уралу в 1837 году поэта В. А. Жуковского.

К $\frac{20904-037}{M158(03)-82}$ 5000000000



КЛАДЫ БАБУШКИНЫХ СУНДУКОВ

Бабушкин сундук... Не обязательно, конечно, именно сундук — этот ныне уже забытый в обиходе ящик, окованный полосками «мороженого» железа и снабженный внутренним замком с мелодичным звоном. Сундуком может быть и плетенная в прошлом веке корзина из ивовых прутьев, и овальный фанерный баул времен первых пятилеток, и старинная резная шкатулка с картинками на внутренней стороне крышки, и даже какой-нибудь жестяной ларец из-под леденцов с непонятной надписью «Ландрин».

И не обязательно бабушкин сундук, нередко и дедушкина шкатулка. Такие сундуки и шкатулки когда-то были почти в каждом доме, да еще и сейчас встречаются даже и в современном, высотном. С ними цепко связаны воспоминания детства — именно там жил какой-то, отличный от окружающей обстановки, мир: непонятного назначения вещи, бумаги, фотографии. Наши деды и бабки видели во всем этом что-то очень памятное и дорогое им и иногда в одиночестве, с лицом, освещенным теплой грустью, неспешно перебирали содержимое своих заветных хранилищ. А нас влекла к этим вещам лишь их необычность, непонятность их назначения, как влекло тогда к себе, в эти первые годы жизни, все, еще не познанное.

С годами интерес тускнел — огромность распахи-

вающегося перед нами мира затмевала и вытесняла простое детское любопытство, и мы уже с недоумением, а то и с пренебрежением смотрели на «сокровища» бабушкиных сундуков и великодушно извиняли сентиментальное внимание к ним милых стариков.

Но еще шли годы, мир перед нами не только расширялся, а и углублялся, обретал объемность, и приходило время, когда интерес к содержимому сундуков неожиданно возникал вновь, хотя и в другом аспекте.

...Юноша увидит в дедовой шкатулке красноармейскую звездочку времен гражданской войны, и пора эта встанет перед ним кусочком реальности, заставившей о чем-то задуматься — может быть, об эстафете поколений, о своем месте в жизни. Девушка, обнаружив в бабушкином сундуке старинный кружевной воротник, с восторгом примерит его перед зеркалом (мода, как известно, периодически возвращается на круги своя) и благодарно помянет мастерство и вкус народных мастериц прошлого. Или с волнением возьмет в руки лист плотной бумаги — давний документ, свидетельствующий о трудовых или ратных заслугах перед родиной своих дедов и прадедов. И содержимое «сундуков» вызовет чувство приобщения к Истории, ощущение Времени.

Не ко всем и не всегда, к сожалению, приходит это возвышенное и возвышающее человека чувство, тем более что и старые сундуки встречаются все реже и реже — не всегда потомки проникаются уважением к ним, нередко выбрасывая их при очередной генеральной чистке квартиры или при переезде. И мы должны быть благодарны тем, кто сумел сохранить осколки прошлого — с течением времени они становятся важными не только для истории семьи.

Однако оказывается, что сохранить старые вещи и документы — это еще не все. Надо суметь сохранить и то, что стоит за ними, — их историю и значе-

ние. Иначе они остаются немymi, если когда-то не было разузнано о них побольше, а позднее спросить стало уже некого. Тогда приходится прибегать к дополнительному дознанию, чтобы заставить заговорить вещи.

В одном из таких дознаний мне довелось принять участие.

В этот дом меня привело сходство фамилий его хозяйки и человека, которым я давно интересовался. На афишах второй половины XIX века часто упоминается капельмейстер театральных и клубных оркестров Урала Тихачек. Имени и отчества музыканта я не знал — их тогда как-то не принято было указывать, а выяснить хоть какие-то биографические данные было бы важно: мы так мало еще знаем о культурном прошлом края, о тех, кто способствовал его становлению.

Так я оказался в одном из новых домов на юго-западе Свердловска. Современная мебель, новейшей марки телевизор, телефон и прочие приметы нашего времени мирно и даже уютно соседствуют в квартире с вещами явно давнего происхождения: вольтеровским креслом, резным буфетом, инкрустированными шкафчиками, картинами в тяжелых рамах. Старое и новое тут не только не мешают одно другому, а, скорее, дополняют друг друга. В этом видится умение ценить старину и в историческом, и в бытовом смысле, не пренебрегая и тем, что дает наш комфортный век. Сочетание старого и нового здесь не дань моде, а пример естественности назначения вещей, использования их полезных качеств.

Разностильность? Нет, это тоже стиль, выражающий в век НТР преемственность старого и нового.

Хозяйка квартиры, кандидат медицинских наук Елена Сергеевна Тихачек очень органично вписыва-

ется в такой интерьер — черты современной деловой женщины тонко сочетаются с изяществом «старомодной» интеллигентности, которую с годами мы начинаем все больше ценить, понимая, что в ней сконцентрировался поведенческий опыт многих поколений.

— Да, *ваш* Тихачек, — улыбаясь говорит она, — этой мой предок. Вернее — предки: дед и прадед. Оба музыканты, оба руководили оркестрами, поэтому немудрено и спутать их, свести в одно лицо. К сожалению, я не так много знаю об их музыкальной деятельности, на роль биографа не гожусь. Но попробуем что-то выяснить по сохранившимся бумагам и семейным реликвиям...

Елена Сергеевна вынесла из другой комнаты... ну конечно же шкатулку (первую из тех многих, что потом выносились), и мы начали разбирать ее, подвергая перекрестному допросу каждую вещьцу или бумагу, дополняя рассказ хозяйки о семейных преданиях моими комментариями там, где это касалось истории края.

Скажем сразу, сенсационных открытий сделано не было. Но разве только ради сенсаций ведется какой-то поиск? К тому же то, что для одного сенсация, для другого лишь малоинтересный факт. А то, что мы называем мелочами, порой обретает немаловажное значение. Как, скажем, такая мелочь, как винтик, поставленный на свое место, вдруг оживляет давно бездействующий механизм, маленькое звеньишко соединяет разорванную цепочку, а некий незначительный штрих завершает наконец-то незаконченный рисунок.

И таких вот несенсационных, но существенных находок оказалось вполне достаточно для того, чтобы порадоваться результатам изучения домашнего архива династии Тихачеков.

Не сразу, конечно, выстроились в стройный ряд

эти результаты, не один и не два вечера ушли на разбор содержимого шкатулок, сундуков и корзин — писем и документов, газетных и журнальных вырезок, афиш, рисунков и фотографий. Не все удалось разгадать и понять, где-то в цепочке хроники так и остались разорванные звенья, но почти все значительное и наиболее интересное, пожалуй, было ухвачено.

Первой из шкатулки была извлечена вырезка из пражской газеты, неизвестно какой, но, судя по объявлению на обороте, от апреля 1861 года. Заметка в хронике новостей: «На Урале, в России, чешский дирижер Ян Тихачек, известный пражанам своим секстетом (оркестром из шести музыкальных инструментов.— Ю. К.), имеет большой успех. Два года назад он был приглашен в Екатеринбург и создал там оркестр из 12 музыкантов, преимущественно рабочих рудников на Сергинском заводе. Талант и настойчивость Тихачека привели к тому, что в этом русском городке сейчас не только устраиваются регулярные концерты, но он со своим небольшим оркестром совершает поездки по ярмаркам, где наряду с обилием похвал также собирает и серебряные рубли».

Серебряные рубли здесь упомянуты, конечно, как более весомое свидетельство успеха, чем обычные похвалы.

Вот, значит, как появилась на Урале династия Тихачеков, и вот как начиналась здесь карьера чешского музыканта, приехавшего в 1859 году из Праги. Возможно, вначале он и не думал переселяться сюда совсем — справка пражской школы (это уже второй документ из шкатулки) свидетельствует, что его старший сын Иосиф до 1863 года еще учился в Праге.

Что побудило чешского маэстро остаться здесь — выгодный ли контракт, привязанность ли к новому, полюбившемуся ему краю, к его людям, к делу, которое он здесь успешно начал и не хотел бросить, — кто знает. Может, этому решению способствовала и политическая обстановка на родине, в Чехии, входившей тогда в состав Австрийской империи, «ло-скутной монархии», как называли ее за пестрый национальный состав. Славянским народам, насильственно включенным в это государство, жилось там нелегко в атмосфере австрийского шовинизма.

Как бы то ни было — Ян Тихачек остался в России, перевез сюда семью — жену Марию, сыновей Иосифа и Александра и дочь Марию, обрусел, стал писаться Иваном Ивановичем, хотя долгое время еще числился австрийским подданным — это давало известное преимущество при возможных конфликтах с местными властями.

Надо сказать, что в те годы в России жило и работало немало чешских музыкантов, достаточно вспомнить известного Направника. Они внесли свой заметный вклад в развитие русской культуры — ведь тогда у нас еще не было специальных музыкальных учебных заведений.

Несколько странно лишь то, что даровитый музыкант с именем, хорошо известным в одной из музыкальных столиц Европы *, оказался на каком-то малозаметном заводике Среднего Урала.

Но это он потом стал малозаметным, а в те годы, когда туда приехал Ян Тихачек, Сергинские заводы наследников купца Губина пребывали еще в богат-

* Кстати, возможно, родственник одного из выдающихся чешских вокалистов Иосифа Алоиса Тихачека (1807—1886), ведущего солиста Дрезденской оперы, друга Вагнера и первого исполнителя главных ролей в его операх.

стве и славе, а хозяева в своем стремлении к показной пышности мало в чем уступали другим промышленным магнатам края.

Хозяева... Но в том-то и дело, что юридические хозяева были еще малолетними и заводами управляли их фактический владелец, отчим «наследников Губина» Павел Ушаков. Столичный жуир, женившийся на богатой вдове, он совершенно не интересовался заводами, видя в них лишь бездонный источник доходов, которые он пускал враспыл на свои прихоти, подражая примеру Демидовых, Строгановых, Всеволожских, не считаясь с разницей масштабов состояния. Ушаков почти не появлялся на заводах, зато хотел, чтобы и на расстоянии его там чувствовали царьком.

Примечательно в этом отношении письмо Ушакова из Петербурга от 26 января 1861 года Тихачеку в Нижние Серги. «...Посылаю в Главную контору для передачи Вам полное собрание двенадцати опер... Теперь Вам остается переписать для каждого инструмента и, когда приеду на заводы, порадовать меня успехами... Все вместе мне стоит более трехсот рублей серебром, которые я приношу заводам в подарок. Надеюсь, что моя капелла... постарается оправдать эти попечения и утешит меня успехами».

Утехи, среди которых собственная капелла была лишь каплей в море несусветных трат, кончились довольно скоро и весьма печально. Не довольствуясь поступающими от заводов средствами, Ушаков решил еще и смошенничать — заложил в банк несуществующий металл и попался на этом. Разразилось громкое дело.

Оно, кстати, послужило Д. Н. Мамину-Сибиряку одной из сюжетных основ его первого романа «Приваловские миллионы». Историю Сергинских (в романе Шатровских) заводов он использовал для

описания истории наследства Приваловых. В черновых записях к роману есть такие строки, записанные со слов старожилов: «Дело обнаружилось в Нижнем [Новгороде] в 1863 г., и Министерство финансов преследует Ушакова уголовным порядком и взыскивает убытки казны. Дело кончилось только в 1874 г. в Сенате. Ушаков обвинен в мошенничестве, лишен прав и состояния и подлежал ссылке в Сибирь, а взыскание убытков присуждено с имущества Ушакова в сумме 930 000 р.».

Но, как выясняется из дальнейших записей, влиятельный жулик сумел выкрутиться, да еще за чужой счет: «Ушаков умирает генерал-майором. Министерство переносит долг Ушакова на наследников Губиных, т. е. на их заводы, что составляет с процентами 2 миллиона». (Записи эти хранятся в фонде Д. Н. Мамина-Сибиряка в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.)

В этих условиях капелла Тихачека была ликвидирована одной из первых среди других утех и затей Ушакова. Капельмейстер остался не у дел.

Памяткой об этом, казавшемся вначале безоблачным, четырехлетию в архиве Яна Тихачека осталась любопытная реликвия — его музыкальное произведение, изданное в Праге Йозефом Салеком в начале 1860-х годов. Название его, совмещенное с посвящением, напечатано на фоне гравюры, тиснутой золотом на трех языках — русском, французском и чешском: *«Приветствие чеха из гор России! Полька-мазурка для фортепиано, сочиненная и посвященная почтенному соотечественнику Антону Антоновичу Лебеде в Праге Яном Тихачеком, капельмейстером на Сергиевском заводе в Уральских горах».*

Примечательна и гравюра на обложке нот: музыкант со скрипкой в руках, стоя на лесистой скале,

в пещере которой спит медведь, приветственно машет шляпой другому берегу водной глади, где видны башни и шпили Златой Праги.

Проставлен, как водится, и порядковый номер сочинения композитора — опус 8. Значит, было еще семь, но ни эти, ни последующие, к сожалению, не известны, очевидно, остались неизданными, а рукописи не сохранились. Любопытно, что и этот печатный опус вернулся в семейный архив музыканта лишь спустя шесть с лишним десятилетий и уже из другой семьи — на нотах есть дарственная надпись Н. Шушакова одному из потомков композитора, датированная 1926 годом. Музыка польки-мазурки очень живая и мелодичная, легко запоминающаяся, несомненно, пользовалась успехом в свое время, да и сейчас, наверное, привлечет внимание.

Не вызывает сомнений, что Антон Лебеда, которому посвящено сочинение, давний и близкий друг музыканта — он еще долго писал ему в Россию. Одно из его писем — на бланке редакции «Лагер альманаха», а это позволяет предположить, что журналист и литератор Лебеда был и автором заметки о Тихачеке в пражской газете — подпись Далебор, вероятнее всего, анаграмма фамилии Лебеда.

Кстати, о письмах. Их сохранилось много — в 60-х и начале 70-х годов Ян Тихачек вел оживленную переписку с пражскими родными и знакомыми. Надо думать, что в ней отразились не только семейные события, но и новости общественной жизни, небезынтересные для нас и сегодня. Но письма пока остаются немymi — для того чтобы их прочитать, надо перевести, а прежде чем перевести, предварительно расшифровать. Дело в том, что написаны-то они готической скорописью (которой тогда учили во всех австрийских школах), а ныне редко кто знаком с нею.

Итак, с Нижними Сергами, местом, которое обещало быть обетованным, но не оправдало ожиданий, пришлось расстаться. Без дела, конечно, Тихачек не остался — квалифицированных музыкантов на Урале в те годы было еще не густо.

Начался новый этап его жизни, который, будь он нам известен подробнее, дал бы новые штрихи к тому периоду музыкальной жизни края, что до сих пор остается белым пятном. Свидетельством этому — сохранившееся «Условие», то есть договор Екатеринбургского благородного собрания (местного клуба) с оркестром во главе с капельмейстером Тихачеком на обслуживание балов и концертов клуба в сезон 1863/64 г., на котором, кстати, есть пометы о его продлении до 1867 г.

Документ важен и тем, что рассказывает об условиях работы оркестра, и тем, что он донес до нашего времени фамилии его участников, семнадцати человек, чьи подписи остались на договоре — ведь это имена одних из первых у нас профессиональных музыкантов. Судя по их с трудом нацарапанным подписям и по типично уральским фамилиям, это, вероятно, и есть те самые рабочие Нижнесергинских заводов, составившие в свое время «капеллу» Тихачека.

Вот они: Матвей Шмелев, Василий Крутиков, Иван и Алексей Комаровы, Константин Ряпасов, Осип Лескин, Андрей Спирин, Василий Старостин, Осип Коробицин, Алексей Засыпкин, Василий Журавлев, Василий Полетаев, Василий Назаров, Петр Русаков, Семен Палымов, Александр Русаков, Иван Свалов.

В контракте с клубом оркестр выговорил себе право: «в великий пост музыканты освобождаются на четыре недели для поездки в Ирбит». Ежегодно оркестр отправлялся туда на ярмарку, это знамени-

тое торжище на рубеже Европы и Азии. В «Ирбитском ярмарочном листке» тех лет можно видеть сообщения, что «в гостинице «Ярославль» играет оркестр г. Тихачека из 17 человек». Ярмарочные корреспонденты различных газет с похвалой отзывались о его игре.

Однако игра на балах в клубе и в ярмарочных гостиницах едва ли могла удовлетворить серьезного музыканта. Ян Тихачек возобновил летний концертный сезон на Сергинских минеральных водах, принадлежавших губинским заводам. А при первой же возможности, в 1869 году, принял на себя руководство оркестром городского театра в Екатеринбурге, которому требовался опытный дирижер. И так поставил дело, что, как писали в газетах, «в здешний театр многие приходили единственно для того, чтобы послушать превосходную игру капельмейстера г. Тихачека».

Впрочем, он не оставил совсем и обслуживания клуба — давал и здесь концерты, участвовал в концертах заезжих гастролеров. Словом, стал как бы главным музыкантом всего Среднего Урала.

В этих же шкатулках, принесенных Еленой Сергеевной, оказались и две фотографии. Можно подумать, что на них изображен один и тот же человек — тот же покрой платья, такой же галстук, даже поза та же. И сняты в одном городке — Нижнем Новгороде, хотя и в разных фотографиях. Но взглядевшись, видишь разницу и в возрасте, а поскольку снимки, несомненно, сделаны в близкие друг другу годы, то ясно, что на них два разных лица. Это Ян Тихачек и его сын Иосиф.

Кстати сказать, на каком-то этапе восстановления семейной хроники сведения об отце и сыне так переплелись, что сейчас уже трудно разобраться, когда

о ком из них идет речь в сохранившихся бумагах. Там более что и инициалы у них схожи.

К тому времени (конец 1870 — начало 80-х гг.) Иосиф стал вполне взрослым и тоже обнаружил незаурядные музыкальные способности. Играл в театральном и клубном оркестрах, пробовал себя в качестве дирижера (а потом и утвердился в этой специальности, как бы сменив отца), давал уроки музыки, в том числе на своем любимом и редком тогда инструменте — корнет-а-пистоне.

И все-таки штрихи из биографии Иосифа Тихачека представляли бы лишь семейный интерес, если бы не сохранились в его бумагах кое-какие документы и материалы, интересные и в более широком аспекте.

Вот, скажем, письма Михаила Александровича Завадского — актера, режиссера и антрепренера, широко известного в театральном мире последней четверти XIX века. Неумолимое время оставило нам очень мало данных о нем — несколько скупых строк в мемуарной литературе и в примечаниях к некоторым театроведческим трудам. Между тем это был незаурядный актер и безусловно интересный человек. Уроженец Польши, он учился у знаменитого музыканта и композитора Монюшко, но стал не музыкантом, а актером, особенно популярным в опереттах и водевилях. Завадский объехал почти всю страну, служил в десятках антреприз, пробовал и сам антрепренерствовать, но неудачно (не имел коммерческой жилки). Несколько лет служил в Екатеринбурге, один сезон держал здесь антрепризу (и потом долго расплачивался с долгами), где и подружился с музыкантом театрального оркестра Иосифом Тихачеком.

В письмах своих Завадский предстает перед нами веселым и общительным человеком, добродушным

неунывакой, хотя роз на его пути было гораздо меньше, чем терниев. Невеселые театральные новости и черты неуютного актерского быта в его изложении окрашены незлобивым юмором, снисходительной терпимостью много повидавшего человека, не потерявшего во всех жизненных передрягах чувства собственного достоинства, верности избранному делу, светлого взгляда на жизнь.

Так, в письме Иосифу Прекрасному (как он именовал друга) из Перми, где Завадский летом 1878 года заканчивал свою неудачную уральскую антрепризу, он подтрунивает над свалившимися невзгодами, вызванными неумением «аршинничать» и попадать всеядной публике. А в ноябре следующего года, когда он уже служил в Самаре у какого-то антрепренера-кулака, с юмором описывает конфликты с этим «оболтусом», «болваном неотесанным» и «невеждой, который смотрит на артистов как на поденщиков» и завалил его, Завадского, ролями и трагиков, и злодеев, и резонеров, и даже... любовников (при его-то толщине!).

И лишь изредка вздохнет о «собачьей актерской судьбе». Но тут же он добродушно острит над Прекрасным Иосифом в связи с его женитьбой на дочери богатого купца Дмитриева: «Хотел бы я посмотреть, как ты аршинничаешь», предполагая, что невеста принесла в приданое и часть купеческих капиталов. Лишь позднее он мог узнать, что купеческая-то дочка вышла за бедного музыканта «убегом», без согласия родителей и, значит, без их капиталов. Однако *поаршинничать* Тихачекам все же довелось. Правда, на свой лад, не по-обычному: они взяли на себя аренду Нижнесергинских минеральных вод. Этот, кажется, тогда единственный и, несомненно, старейший уральский курорт, открытый еще в конце 1820-х годов, был собственностью губинских заво-

дов, потому что располагался на принадлежавших ему землях. С годами он становился все популярнее, на воды приезжало все больше публики из разных мест Урала. Появилась необходимость в развлечениях для нее, в том числе понадобилась, конечно, музыка — по примеру зарубежных курортов, ежедневные концерты в курзале. Они привлекали не только больных, но и тех, кто хотел летом просто отдохнуть. А это множило доходы хозяев. Вполне вероятно, что именно для организации таких концертов хозяева заводов и пригласили опытного музыканта из Праги.

В конце 1870-х годов, когда обнищавшие после ушаковских афер заводы дышали на ладан, курорт, по сути дела, остался беспризорным. Тогда-то Тихачеки и взяли на себя его аренду, чтобы не остаться самим без дела на лето и сохранить работу музыкантам оркестра, с которыми так прочно связала судьба. Конечно, для заведования лечебно-медицинской частью был приглашен врач, для ведения хозяйства — опытный приказчик, а Тихачеки занимались лишь организацией и руководством концертов. Как сообщала сохранившаяся афиша 1888 года, «В курзале в продолжение всего сезона (с 1 июня по 15 августа) ежедневно по вечерам играет оркестр бальной музыки под управлением г. Тихачека».

Серьезно поставленная концертная программа привлекала многих любителей музыки, сюда ездил как на абонементный сезон, где можно познакомиться с новинками современной музыки, услышать любимые мелодии.

К сожалению, это значительное культурное дело как-то прошло мимо внимания исследователей музыкального прошлого Урала. Зато его отметил Д. Н. Мамин-Сибиряк, уделив в романе «Приваловские миллионы» место и концертам на Лалетинских

минеральных водах, бывших собственностью Штаровских (то есть Нижнесергинских) заводов.

Так еще один факт из семейной хроники Тихачеков оказался фактом, интересным и для истории края.

Как и следовало ожидать, «аршинников» из рожденных музыкантов не получилось — спустя некоторое время арендатором курорта стал оборотистый врач Доброхотов. А Тихачеки снова только музыканты — дирижируют, играют в оркестрах, дают уроки музыки. Старший выступает все реже, уходит в тень, зато младший обретает все большую известность. В сезон 1897/98 г. он уже капельмейстер — музыкальный руководитель труппы П. П. Медведева, ставит много новых оперетт (большинство из них впервые на Урале) и, судя по отзывам в газетах, весьма успешно.

И вот из очередной шкатулки появляются следы третьего поколения «русских Тихачеков».

Здесь надо сказать, что жена Иосифа Ивановича, Татьяна Михайловна, тоже оказалась одаренной натурой: увлекалась живописью, выжиганием по дереву, художественной вышивкой. И передала свои художественные наклонности новому поколению Тихачеков.

Так, старший сын, Валерий Иосифович, хотя и стал по профессии ученым-лесоводом, большим специалистом в своем деле, был не только прекрасным пианистом, но и способным художником.

Сестра его, Маргарита, тоже слыла хорошей музыкантшей, но больше тяготела к изобразительному искусству, получила художественное образование и преподавала рисование.

Младший брат, Сергей, избрал специальностью юриспруденцию, но увлечения музыкой и живописью не избежал, по утверждению родных и знакомых, мог

При желании стать профессиональным художником или музыкантом.

Лишь Екатерина Иосифовна продолжила музыкальную профессию — стала певицей. Обладательница нежного и проникновенного меццо-сопрано, она в 1915 году окончила Московскую консерваторию по классу известного педагога профессора Зарудной, пела в театрах и концертных залах Москвы, Уфы, Свердловска и других городов.

Художественные пристрастия столь многих членов семьи, конечно, оставили след и в семейном архиве, да и во всей квартире. Пейзажные картины на стенах, искусно выжженные филенки буфета и шкафчиков, тяжелые папки с акварельными листами, на которых главным образом изображения цветов, — до того тонко и точно исполненные, что смело могли бы стать иллюстрациями в ботанических атласах, не теряя при этом своих художественных достоинств.

А на дне одной из очередных шкатулок обнаружили альбомы рисунков пером, удивительно легких, изящных, выразительных. Большинство из них невелики по размерам, иные всего с двухкопеечную монету. Не часто встретишь и у признанных мастеров графики такую способность добиваться столь высокой степени мастерства и изящества в миниатюре: несколько штрихов на площади величиной с ноготь — и перед вами выразительнейший портрет человека, про которого можно сказать многое, не зная его.

И все-таки не только этим примечательны рисунки. Собранные в альбомах, они составили своеобразную изобразительную антологию типажа жителей города начала нашего века.

Какое разнообразие типов и сюжетов! Картинки из жизни гимназии: уроки, экзамены, типы учеников и учителей. Сцена в лавочке. У портного. У фото-

графа. Домашний концерт. Пасхальные визитеры. Танцы в клубе: вереница пар, одна другой характернее. Картежники. Урок музыки. Урок рисования. У врача. В читальне. На катке. Публика городского бульвара. У церковной паперти — нищие и «благотетели». Думский оратор. Поп и дьячок. Купец и купчиха. Чиновник в «присутствии». Няня с младенцем. Молодая жена в экипаже с мужем-стариком. Сцены из спектаклей городского театра, его актеры в ролях и без грима, зрители всех ярусов, от партера и лож до райка...

Сотни миниатюр в одном альбоме. А их всего пять. Значит — тысячи рисунков, один другого любопытнее и ценнее! Несомненно, это богатство и для историка города, и для постановщика спектакля или фильма о тех годах.

А в одном из альбомов, между его листов, оказались вложенными несколько вырезок карикатур из какого-то журнала. «Почерк» их автора и альбомного художника, несомненно, одинаков. Больше того, типаж некоторых журнальных карикатур можно найти и на страницах альбомов. Но здесь, в журнале, уже не безобидные жанровые сценки, а острые сатирические композиции обличительного характера на местные темы. Тут «зверинец» Красного Креста, где процветает хищничество, тут шабаш скандальных деятелей местного общественного клуба, тут разоблачение неблагоприятных порядков в «тихом омуте» женской гимназии. И, наконец, лицевая обложка самого журнала... Ба, да это «Гном»! Этот «общественно-сатирический журнал», как он рекомендовался на обложке, возник в Екатеринбурге на гребне революции 1905—1907 гг. и заслужил широкую известность у читателей Урала и... у полиции. За свое резко антиправительственное направление, дерзкие (даже по тому времени недолгих «свобод»)

выпады против самодержавия журналу пришлось претерпеть многое — его не раз штрафовали, закрывали, конфисковывали готовые тиражи, вымарывали чуть ли не половину страниц, садили редактора В. С. Мутных в тюрьму и, наконец, окончательно закрыли в середине 1907 года.

О «Гноме» писалось не раз, но все как-то вскользь, понемногу и в связи с чем-нибудь. К сожалению, нет пока ни одной обстоятельной исследовательской работы, рассказывающей о его истории, о цензурных и иных мытарствах, о его содержании, наконец, о его авторах и художниках, большинство которых печаталось, по вполне понятным причинам, под псевдонимами (многие из них так и остались нерасшифрованными).

Чаще всего о «Гноме» вспоминают в связи с биографией выдающегося советского скульптора И. Д. Шадра — он, тогда еще ученик Екатеринбургской художественно-промышленной школы Иван Иванов, публиковал в журнале свои политические рисунки под псевдонимом Ж 'Ан.

Специальная исследовательская работа о «Гноме», безусловно, когда-нибудь появится, и тогда альбомы Тихачеков и их рисунки в журнале послужат ценным материалом для нее.

А что авторы рисунков на журнальных вырезках — Тихачеки, в этом сомнения нет, подпись под ними: «Т-во Брехачек», — слишком прозрачный псевдоним, не говоря уже о почерке авторов — Валерия и Маргариты Тихачеков, одинаковом в их альбомах и в журнале.

Если в первом и втором поколениях Тихачеков и профессией и увлечением была музыка, а в третьем, при разности профессий, основным пристрастием все же стало изобразительное искусство, принесен-

ное в семью Татьяной Михайловной Дмитриевой, то с приходом в дом Александры Николаевны Князевой, ставшей женой Сергея Иосифовича, в семье появился новый профиль профессий, передавшийся и дальше,— медицина. Впрочем, сама Александра Николаевна сумела приблизить свою специальность к профессии первых Тихачеков. Врач-отоларинголог, она специализировалась на постановке голоса артистам, в основном певцам. Медицине же посвятила себя и ее дочь, нынешний хранитель архива и реликвий династии Тихачеков Елена Сергеевна — физиолог, преподаватель медицинского института.

Вот и разобран «бабушкин сундук» одной династии. А сколько важного и интересного для многих открылось! И пусть не встретилось при этом сенсационных открытий — всякая история воссоздается по крохам. Особенность нынешней исторической науки состоит в том, что она идет не столько вширь (белых пятен в ней, как и в географии, уже почти не осталось), сколько вглубь, уточняя и детализируя открытое ранее, но еще слабо изученное, исследованное. И эта тенденция с годами будет лишь усиливаться. Тогда-то и пригодится исследователям каждый, даже самый, казалось бы, незначительный, с сегодняшней точки зрения, факт.

Один «сундук»... А сколько их в шкафах и чуланах, на чердаках и антресолях — полузабытых и совсем забытых, хранимых без внимания и любопытства, доживающих свой век в ожидании, когда их сожгут в печке или сбросят в мусоропровод. Или, наоборот, бережно откроют их чьи-то неравнодушные руки, внимательным и пристальным взглядом ознакомятся с отслоениями дней и лет своих бабушек и дедушек, заботливо сохраняют для своих потомков, которые, конечно же, будут благодарны им за это.



ПОД ЗНАКОМ ЗОЛОТОГО КЛЮЧА

Был в истории Урала такой период — примерно с середины 80-х до середины 90-х годов XVIII века, — который неизменно привлекает внимание исследователей культурного прошлого края. За каких-то десять—двенадцать лет Тобольск и Пермь (объединенные в то время общим генерал-губернаторством) как бы шагнули из одной культурной эпохи в другую. Началась эра книгопечатания — стали работать две типографии, наладившие выпуск книг *общепольного* содержания (а в Тобольске даже и журналов — одних из первых в российской провинции). Появилась целая сеть школ — «народных училищ». Было положено начало организованной книжной торговле — на комиссионной основе из Петербурга и Москвы на Урал шли партии книг, главным образом изданий Н. И. Новикова (недаром их так много и посейчас в старейших библиотеках края).

И это в то время, когда, скажем, более близкая к столицам Вятская губерния жила куда скромнее в культурном отношении.

Сами эти факты в отдельности давно были замечены исследователями, о них много писалось — и статей, и книг, и монографий. Но не было попытки увязать события в какую-то стройную систему, выявить их возможный общий источник. Правда, и данных-то для этого имелось маловато.

Но именно поэтому следует дорожить всякой новой зацепкой, позволяющей хотя бы предположи-

тельно приблизиться к прояснению загадки «золотого десятилетия».

Случай — встреча с одной старинной рукописью — заставил меня задуматься над возможностью одного предположения.

Масоны... Не каждый сейчас и вспомнит о них. Разве что всплывет в памяти эпизод из «Войны и мира», где Пьера Безухова принимали в масоны. Как это там?..

...Ему завязали глаза и повели куда-то... В дверь послышались сильные удары, и он, как было условлено, снял повязку и увидел в полутемной комнате: черный стол с лампадой из человеческого черепа и евангелием, гроб с костями... Вошел неизвестный человек в белом кожаном фартуке и учинил ему расспрос о целях, приведших его сюда... Затем второй раз пришел человек и передал ему семь добродетелей — семь ступеней в храм Соломона...

Ну и дальше в том же духе, не менее таинственно и... маскарадно.

Более дотошный книгочей вспомнит еще похожие эпизоды в «Повести о братьях Тургеневых» А. Виноградова, роман А. Писемского «Масоны», а кто — и совсем забытые ныне произведения полубульварных литераторов вроде графа Салиаса, князя Волконского и им подобных. Вот там-то мистические страсти рассеяны по страницам в изобилии.

И, оказывается, это не домыслы сочинителей, не плоды их разгулявшейся фантазии, а самая что ни на есть историческая правда. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в обширную специальную литературу, особенно в рукописные масонские «Обрядники», где регламентирована вся организационная и ритуальная сторона деятельности лож разного толка: условия их основания и открытия, иерархия членства (в некоторых ложах — до 18 степеней),

порядок приема в члены ордена и перевода их из степени в степень, проведения разного рода заседаний (ученических, товарищеских, поучительных, мастерских, теоретических, столовых, траурных и пр.), обстановка и декорации каждой из комнат ложи в разных ситуациях, вещественный антураж (мечи и шпаги, черепа и кости, светильники и экраны, ковры и покрывала с кабалистическими знаками, ритуальные циркули и треугольники, фартуки и молотки и прочее и прочее).

Обрядники — у каждой системы лож свой — устанавливали кто и что, когда и где должен говорить при каждом обряде, какой ответ получать, когда и сколько раз стучать в дверь или молотком по столу, когда сколько свечей зажигать, когда во что быть одетым. Словом, все до последних мелочей было регламентировано, и сегодня просто трудно представить себе, как все это умудрялись запоминать и действовать без суфлера. Например, обряд принятия в ложу нового члена, переписанный мной (сокращенно!) из обрядника одной ложи, занял шесть машинописных страниц. Впрочем, суфлер был — его заменял брат-обрядоначальник, специальное лицо, которое заранее готовило очередное представление, то есть, простите, обряд.

Так кто же такие масоны? Тайное сообщество мистиков? Любители театрализованных священнодействий?

Да, конечно, мистика тут на первом плане. Но и о театре вопрос не риторический — не случайно профессор В. Всеволодский-Гернгросс в своей «Истории русского театра» (1929) посвятил около сорока страниц масонским обрядам, назвав эту главу «Дворянский самодеятельный театр» (любопытно, кстати, что один из видных русских масонов И. П. Елагин

пятнадцать лет состоял управляющим императорскими театрами).

Но мистика и театр — это внешнее, показное, главное было все же в другом. Историки характеризуют масонство как религиозно-нравственное движение, которое, «противопоставляя себя феодальной государственности и официальной церкви, стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе» (Советская историческая энциклопедия, т. 9). А средства достижения этой цели — всеобщее просвещение и нравственное совершенствование.

Система организации и кодекс мистической обрядности были взяты масонами, как говорится, напрокат у средневекового ордена вольных каменщиков, тайного сообщества цеха высококвалифицированных мастеров-строителей, созданного для ограждения своих цеховых интересов, — отсюда в масонской бутафории фартуки, молотки, циркули и лопатки и прочие атрибуты профессии каменщика.

Тайные масонские организации, как, впрочем, и всякие тайные общества, конечно, не могли вызвать симпатий у официальной церкви и властей тех стран, где они возникали, потому масонам пришлось испытать и гонения. Однако не везде и не всегда. Масонство-то оказалось неоднородным: одни видели в нем средство противоборства придворных партий за право контроля над какой-то сферой интересов, другие — способ выдвинуться за счет знакомства с влиятельными «братьями» по ложе, а третьи — лишь развлечение, своеобразный самодеятельный театр. Да и у тех, кто искренне стремился к просвещению и совершенствованию, чаще всего это сводилось к прекраснодушной болтовне об основах христианской морали и человеческих добродетелях.

Тот же упомянутый выше И. П. Елагин откровенничал о целях, с которыми вступал в масоны: «Любопытство и тщеславие, да узнаю тайнство, находящееся, как сказывали, между ними, тщеславие, да буду хоть на минуту в равенстве с такими людьми, кои в обществе знамениты... Содействовала тому и лестная надежда, не могу ли чрез братство достать в вельможах покровителей и друзей, могущих споспешествовать счастьем моему». Куда уж откровеннее!..

Однако кое-где возникали и такие ложи, программа и деятельность которых становились опасными для власть имущих. Например, такая ветвь масонства, как орден иллюминатов, имевший тайной целью замену христианской религии деизмом (в тех условиях — тайной формой атеизма) и монархической формы правления республиканской. А это напрямую сближало их с идеями французского Просвещения. И недаром с иллюминатами так яростно боролись и церковь и правительства всех стран Европы.

В России свои масонские ложи появились в начале 1770-х годов. Как и на Западе, в идеологическом отношении они были весьма разношерстными: они «объединяли людей с самыми разнообразными и подчас противоречащими друг другу запросами — здесь были и скептики-вольтерьянцы, и мистики, и видные общественные деятели, либералы и крепостники» — так характеризовал их один историк масонства. С масонством заигрывал великий князь Павел Петрович, будущий император всероссийский. Многие из будущих декабристов тоже состояли в ложах, но быстро раскусили бездеятельную сущность общества и отошли от него.

Да и Пьер Безухов, как мы знаем, тоже вскоре убедился в беспочвенности надежд на реальную ценность масонства и порвал с ним. Вспомним, что и Пушкин, вступивший в 1821 году в Кишиневскую ло-

жу Овидия, вскоре закрытую, жалел, пожалуй, не столько о несостоявшемся своем масонстве, сколько о невозможности дальнейшего откровенного общения в тайном кружке с людьми свободолюбивых устремлений, с будущими декабристами.

Правда, долго и прочно была связана с масонством судьба такой светлой личности в нашей истории — замечательного русского просветителя Николая Ивановича Новикова. Но то, что для большинства масонов было второстепенным, лишь предметом декламации — всеобщее просвещение и нравственное усовершенствование, — для него являлось основным, о чем свидетельствует вся его практическая деятельность. Мистическая мишура, ритуальные маскарады тяготили его, он хотел бы свести их к минимуму, а то и совсем избавиться от них (чем и восстановил против себя сочленов по ложе из числа видных аристократов).

Показательно, что Новиков и принят-то был в орден, согласно поставленному им условию, без всякого маскарадного ритуала, в обход всех масонских законов.

Вот какие они разные были, эти масоны!.. И поскольку таких, как Новиков, насчитывались единицы, власти смотрели на масонов сквозь пальцы и не преследовали. Боялись их разве что графини-бабушки из окружения Фамусова («Что? К фармазонам в клуб? Пошел он в басурманы?»). В 1810 году Александр I даже разрешил деятельность лож в России, но в 1822 году сам же решительно и окончательно запретил — разные тайные общества начали всерьез беспокоить его. По всей империи со всех государственных служащих отобрали подписки о непринадлежности к тайным обществам, в том числе и к масонам (в архиве Пермского губернского правления тоже хранилось такое «дело»).

Много лет назад мне довелось от кого-то слышать, что масоны были и на Урале. Признаться, не поверил тогда, а потом сомневался — может, что-то не так понял. В самом деле, откуда в нашем крае взяться масонам? Основные кадры их, как известно, составляли представители аристократии, богатого дворянства, высшего чиновничества. * Для помещений ложи и оборудования ее требовались просторные хоромы и немалые средства. Разному служилому люду и мелкопоместным дворянчикам эта забава была не по зубам. Поэтому трудно представить себе, что масонские ложи действовали и на Урале, в этой далекой и сравнительно молодой российской провинции. Богатых заводчиков принимать в расчет не приходится — они здесь бывали лишь наездами, между собой не общались.

Тем более ни у одного из старых историков края нигде даже мельком не упоминается о масонах — ни у всезнающего Чупина, ни у обстоятельнейшего библиографа Смышляева, ни у перерывшего горы документов археографа Шишонко, ни у дотошного Дмитриева, проследившего, кажется, каждый день в истории Перми конца XVIII века. А уж если у них нет, то обычно считается, что и нигде больше нет.

А вот нашлось!

Нашлось-то вначале всего две строчки, но они дали ниточку к поиску и вывели-таки на след уральских масонов. В книге Г. В. Вернадского «Русское масонство в царствование Екатерины II» (1917) между прочим сообщалось, что «...вероятно, шведского же масонства держалась и основанная бывшими членами ложи Горуса ложа Золотого ключа в

* Для вступления в капитул Феникса, например, требовалось предъявить родословную с 16-ю коленами дворянской крови.

Перми, открытая 24 июня 1783 г.». В другом месте автор указывал и источник этих сведений — речи мастера ложи И. И. Панаева, хранящиеся в семейном архиве О. И. Гильдебрандт, а в копиях — в архиве А. Н. Пыпина. А Пыпин в своем труде «Русское масонство» (1916), как оказалось, упоминает уже не только о речах Панаева, но и о протоколах ложи.

Теперь оставалось лишь найти эти документы. Но где искать семейный архив какой-то О. И. Гильдебрандт? А если копии остались в бумагах Пыпина, то как найти иголку в стоге сена — какие-то несколько листочков в огромном архиве этого историка и литературоведа, рассеянном чуть ли не по десятку архивохранилищ и составляющем около трех тысяч дел?!

Помог случай. Просматривая совсем по другому поводу картотеку рукописного отдела Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, каким-то верховым зрением уловил среди бегло промелькнувших под пальцами карточек ту самую, о которой уже и мечтать перестал: *«Рукописи, заключающие в себе подлинные акты масонской ложи Золотого ключа в Перми за 1783 год».*

...И вот рукопись передо мной. Вид ее скромный и какой-то уж очень обычный (а представлялось, что и вид ее должен быть особенным — с изображениями черепов, костей и прочей чертовщины) — обычные листы писчей бумаги старого формата, заполненные четким писарским почерком конца XVIII века.

Бережно переворачивая листы, погружаюсь в хронику жизни этого своеобразного сообщества, столь неожиданно возникшего на уральской земле в те давние годы. Когда в читальном зале отдела рукописей стемнело и дежурный сотрудник включил общий свет, а сидящие за столиками читатели — свои настольные лампы, я уже настолько вжился в быт ложи,

что показалось, будто это вспыхнула не люстра читального зала, а главный жертвенник ложи, и не читатели включили свои лампы, а братья-каменщики в кафтанах XVIII века возжгли светильники в виде человеческих черепов. Ряды старинных книг в кожаных с золотым тиснением переплетах, выстроившиеся на полках старинных же шкафов вдоль стен читального зала, лишь помогали этой игре воображения.

Итак, лист первый...

«... 1783-го года июня 24 дня, в день праздника святого Иоанна, братья истинные, вольные каменщики Иван Иванович Панаев, Христиан Осипович Шталмеер, Лев Иванович Черкасов, Иван Данилович Шестаков, Петр Иванович Блохин, Иван Иванович Дубровин собрались в квартире высокопочтенного брата Панаева, где с обыкновенными обрядами (сколько обстоятельства позволили их употребить) торжествовали день сей, заключив торжество сие столовою ложею. Но как главная причина собрания не иначе состояла в том, чтобы совокупно советовать [ся] о начатии и продолжении впредь священных работ, то в сем собрании и было рассуждаемо следующее».

И далее следовал экскурс в предысторию ложи. Оказывается, ее намеревались открыть еще почти два года назад, но...

«...Известно, что в прошедшем 1781-м году октября в 27 день высокопочтенный брат Панаев, созвав присутствовавших тогда здесь братьев, предложил им, не согласятся ли они для наивящего упражнения в священной нашей науке установить здесь законную ложу святого Иоанна, предъявив им на таковое учреждение данное ему право. На что все братья (коих имена ниже сего написаны) изъявили единодушное свое желание. И вскоре общим иждиве-

нием почти все надобные вещи были изготовлены, оставалось только устроить приличное место, где бы открыть ложу и начать священные работы под руководством высокопочтенного брата Панаева, наименовав оную ложею Золотого ключа. Но, к сожалению, таковое богоугодное намерение за отсутствием братьев, за неимением дома и по разным другим причинам не имело и по сие время желаемого исполнения.

Ныне же, находя удобным к собранию местом квартиру высокопочтенного брата Панаева, единогласно положили до настоящего учреждения ложи собираться в оную и под его руководством составлять ложу поучения. Когда же соберется надлежащее число братьев и обстоятельства позволят, тогда, при помощи всевышнего Строителя, по уставам ордена открыть настоящую работающую ложу святого Иоанна под особым названием ложи Золотого ключа».

К протоколу приложены и списки учредителей. Это, во-первых, списки «присутствовавших в собрании октября 27 дня 1781 года и согласившихся на установление ложи»: Иван Иванович Панаев, Карл Николаевич Бицов, Григорий Максимович Походяшин, Александр Яковлевич Павлуцкий, Иван Павлович Борнеман, Иван Иванович Черкасов, Христиан Осипович Шталмеер, Лев Иванович Черкасов, Франц Иванович Мигар и Семен Васильевич Яковлев.

Затем перечислены «братья, находящиеся в отлучении и объявившие чрез других к тому же свои желания, которые и объявлены сочленами», — Андрей Степанович Листовский и Семен Алексеевич Исаков.

А заключают списки «ныне вступившие в члены» — Иван Данилович Шестаков, Петр Иванович Блохин и Иван Иванович Дубровин.

Отмечено, что Панаев, Походяшин, Павлуцкий.

Иван Черкасов, Листовский и Исаков уже состояли членами петербургской ложи Ора (точнее — Горуса).

Имена эти пока здесь мало о чем говорят, и мы их оставим, чтобы вернуться к ним позднее, а тем временем посмотрим на место действия тех лет, город Пермь.

...В 1780 году, почти в самом конце затеянной Екатериной II административной реформы империи, была образована Пермская губерния (на правах наместничества). Поскольку подходящего для столицы губернии города тут не имелось, в январе 1781 года повелено было основать таковой на месте деревни Егошихи, около медеплавильного заводика на берегу Камы, «наименовав оный Пермь».

Спешно начали строить губернаторский дом, казармы, присутственные места, церковь и хоть маленькую, но тюрьму (гауптвахту). Начали съезжаться чиновники, кто временно, а кто постоянно назначенные сюда из столиц и старых губернских городов. И уже 18 октября того же года при пушечной пальбе, колокольном звоне и огнях иллюминации последовало открытие города и губернии.

И — не удивительно ли! — еще и десяти дней не прошло после открытия города, а в нем уже обосновалась ложа масонская. Такого история этого ордена, пожалуй, не знала!

Однако в 1781 году состоялось лишь, так сказать, организационное ее собрание, а основная деятельность началась позднее. Зато как активно: за следующие три месяца пермские масоны собирались тринадцать раз!

Впрочем, это можно понять: предстояло обучить неопитов основам масонского учения, освоить многосложный порядок обрядов и вообще всю кухню мистических таинств, надо было позаботиться о пополнении ложи, чтобы достичь необходимого кворума,

наконец, переводить старых членов из степени в степень, дабы поднять солидность новой ложи.

Так на втором собрании, 1 июля, «высокопочтенный брат Панаев читал краткое наставление братьям, изъясняя во оном, почему приобретение добродетели поставляется первою работою или первым искусством истинного вольного каменщика. После чего братья наставляемы были... в изъяснении ковра, в обыкновениях, уставах и учреждениях ордена».

Уже через четыре дня, 5 июля, масоны собрались снова. На этот раз протокол поведал о том, как проходил прием в члены ложи «ищущего» этого звания.

«...Почтенный брат Черкасов послан был двоекратно в темную комнату к ищущему и, учиня надлежащие с ним испытания, привел его ко дверям храма, где ищущий объявил, что имя его Петр, отчество Антонов сын, прозвание Бейльвиц, от роду имеет 32 года... служит здешней губернии в Пермском уездном суде судьбою, пропитание свое имеет от жалованья... ко вступлению в наше общество влечет его не любопытство или чей-нибудь уговор или какое другое намерение, но истинное и усердное желание к просвещению. Сей ищущий впущен в ложу и по учинению трех рыцарских путешествий приведен был к алтарю, учинил присягу, удостоен видеть свет и принят в рыцари вольные каменщики учеником-братом и членом сего ордена».

На следующем собрании (15 июля) таким же образом приняли в ученическую степень Петра Алексеевича Бабановского, 23-летнего прапорщика местных штатных рот, которой тоже «пропитание свое имеет от жалованья». А еще через неделю принимали в члены своей ложи уже состоявшего где-то масоном Ивана Ульяновича Ванслова, видимо, только что приехавшего в Пермь. Он «изъявил свое желание быть членом нашего общества и обыкновенным

образом пред жертвенником ордена утвердил свое согласие».

За месяц с небольшим ложа пополнилась настолько, что появилась возможность открыть ее уже официально, в соответствии с уставом и по всем правилам обрядности. Судя по протоколу открытия 29 июля, ритуал обряда удалось соблюсти полностью, хотя и со скидкой на провинциальные условия.

«По учреждении ложи обыкновенным порядком в оную шли: брат Шталмеер с мечом, за ним брат Шестаков со списком, в середине брат Лев Черкасов с обрядами первых трех степеней и общими законами. По другую руку брат Блохин. За ними с зажженными свечами братья Походяшин, Иван Черкасов и брат Панаев. По входе в ложу делали три путешествия, по окончанию которых постановлял брат Панаев светильники, говоря при первом...»

Опустим дальнейшие эпизоды этого самодеятельного спектакля, перейдя сразу к финалу, в котором «...великий мастер назначил и выбрал чиновников ложи». Должностей в штате оказалось много: первый и второй надзиратели (заместители главного мастера), секретарь, оратор, казнохранитель, обрядоначальник, собиратели милостыни...

После решения разных организационных дел «радостное сего дня происшествие» окончено было столовою ложей, которая продолжалась с 7 до 11 часов.

Столовая ложа представляла собой некое театрализованное застолье: «сначала все читают про себя молитву и великий мастер приказывает зарядить пушки. Присутствующие пьют за здоровье ряда лиц сперва по положению, а потом и по желанию, сопровождая каждое здоровье выстрелом из пушки... За выстрелом может следовать заздравная песня».

Такие пирушки с игрушечными («мусийскими»)

пушками были популярны в аристократических ложах, а в некоторых из них составляли чуть ли не основу «деятельности» и ничем не отличались от обычных гусарских кутежей. Обилие и роскошь пиров привлекали в такие ложи вполне определенную публику, которой на самые-то идеалы масонства было просто наплевать.

Но это в богатых ложах, в доме какого-нибудь барина, которому приятно похвастаться искусством вывезенного из Парижа повара и ананасами из собственных оранжерей. Пермским чиновникам, которые «пропитание свое имеют от жалованья», такие пирушки были, конечно, не по карману, но правила игры в масоны приходилось соблюдать.

Итак, ложа была законно открыта. Дальнейшая ее деятельность протекала в том же духе — те же маскарады и нравоучительные речи. Так бы, наверное, шло и далее, но...

20 сентября того же года, как-то совершенно неожиданно, ложа была закрыта. Еще за шесть дней до этого, на очередном собрании, ничто не предвещало столь скорого конца — кого-то переводили из степени в степень, слушали очередную речь Панаева («...великий мастер рассуждал о трех наших шагах к восходящей на востоке вечности») — в протоколе нет даже намека на возможные перемены...

И вдруг тот же великий мастер Панаев «сентября в 20-й день» объявляет, что «в рассуждении отлучения его из сего города в Казань к новой должности по его службе, так и в рассуждении отъезда и других членов, необходимо принужден он учрежденную на востоке Перми ложу Золотого ключа закрыть».

Чем был вызван столь скоропалительный отъезд целой группы «братьев», выяснить пока не удалось. Последний протокол ложи фиксирует лишь хлопоты по ее ликвидации: «Рассматриваемо было экономиче-

ское состояние ложи» (56 рублей с копейками, собранные для бедных,— раздать по назначению); «вещи, к украшению ложи служащие», предложено Панаеву увезти в Казань («дабы могли они употреблены быть, когда... ложа сия получит свое возобновление»); всем тем, кто был принят в масоны в Перми, выданы об этом свидетельства. После чего «происходило надлежащее троекратное путешествие и великий мастер погасил светильник храма».

Бессменный секретарь ложи Иван Шестаков элегически заканчивал протокол: «Таким образом, к чувствительному прискорбию братьев... прекратились священные их работы... Но усердие их истинное не ко благу своему собственному, а к пользе ордена, дружба и любовь братская, их соединяющая, и, наконец, сердца их, расположенные ко снисканию истинного просвещения, все сие удостоверяет, что священный и полезный труд сей никогда не прекратится в душах их».

«Полезный труд сей»... Но велика ли польза от душевспасительных бесед да нескольких десятков рублей, собранных для бедных? Может, тут было еще и что-то другое, не отмеченное в протоколах? О чем, например, говорилось целых четыре часа в столовой ложе 29 июля? Кто теперь скажет...

А может быть, стоит присмотреться к этой ложе с какой-то другой стороны, не по протоколам?

Необычным было уже и само название ложи. Оно выделялось своеобразием в ряду названий других лож, обычно носивших имена мифологических и библейских персонажей (Астрей, Горус, Феникс), или элементов масонской символики (вроде Восходящего солнца). А тут — Золотой ключ, давний символ книги, ключа к знаниям, принятый эмблемой книгоиздательства, библиографии, библиофильства.

Необычна она и по составу своему. Здесь все

чиновники невысоких рангов. У такой публики, да еще в такой глуши, основное занятие общеизвестно — вино да карты. А тут — тайное общество, главной целью которого (по уставу) значится всеобщее просвещение и нравственное совершенствование. И когда — «в жестокий век Екатерины», вскоре после подавления восстания Пугачева, выросшего в мощную Крестьянскую войну, охватившую почти весь Урал...

Так что же за люди пермские масоны — кто они, чем примечательны кроме участия в ложе Золотого ключа?

По разного рода «Росписям чиновных особ в государстве» за эти годы можно узнать о некоторых из них. Выяснилось, что Ашитков, Ванслов и Лев Черкасов были заседателями, а Бейльвиц — судьей земского суда, Блохин — председателем, а Шестаков прокурором в губернском магистрате, Шталмеер — секретарем приказа общественного призрения, Александр Павлуцкий — провиантмейстером, Бабановский — прапорщиком, Крох — лекарем, а Исаков — поверенным заводчиков Походяшиных. Все они в невысоких чинах, не выше надворного советника (равного армейскому подполковнику). Восьми человек даже и в росписи нет — то ли уж совсем мелкая сошка, то ли люди других профессий, но никто из них ничем особенным известен потом не был.

А вот два имени заслуживают более пристального внимания.

Иван Иванович Панаев — основатель и руководитель ложи. Родился он в 1753 году на Урале, в Туринске, где его отец служил воеводой. Покровительствующий воеводе всесильный тогда сибирский губернатор Денис Чичерин способствовал карьере и его сына — еще в одиннадцатилетнем возрасте записал его в гвардию, хотя маленький Ваня конечно же продолжал жить в родительском доме (так дельвали в то

время, чтобы к совершеннолетию дворянский отпрыск успел набрать чинов). Лет до пятнадцати Иван учился дома у местных грамотеев, а затем Чичерин взял его к себе в Тобольск, записал уже прапорщиком в один из полков, оставил жить в своем доме, нанял ему учителей «по многим наукам», в первую очередь по истории, логике, словесности, латыни и богословию.

Лишь в 1774 году Чичерин выпустил его из-под своей опеки — произвел в подпоручики и отправил в столицу, снабдив рекомендательными письмами к влиятельным придворным персонам. Все это, очевидно, с дальним прицелом — иметь поближе ко двору своего человека.

Воеводский сын и в самом деле довольно быстро вошел в круг высшего общества — стал адъютантом у генерала Румянцева (сына знаменитого фельдмаршала), а затем у генерал-губернатора обеих столиц генерал-аншефа графа Брюса, в доме которого бывал весь цвет общества. Иван Панаев сделался своим человеком в этом доме, сдружился с интересными людьми — поэтом Г. Р. Державиным, драматургом Я. Б. Княжнинным, актером И. А. Дмитриевским; просвещенными барами И. В. Лопухиным, И. П. Тургеневым, О. А. Поздеевым (в «Войне и мире» он выведен Баздеевым), поэтом И. И. Дмитриевым, университетскими профессорами философом А. М. Брянцевым, географом Х. А. Чеботаревым, химиком П. И. Страховым. И Николаем Ивановичем Новиковым (заметим это). Примечательно, что большинство из этих знакомых Панаева вскоре составили основные кадры русского масонства. В эти годы и сам Панаев стал масоном, членом петербургской ложи Горуса.

Есть сведения, что Иван Иванович был не чужд и литературных занятий, его сочинения пользова-

лись успехом, за ними даже охотились. Впрочем, это понятно — они... не печатались, а ходили лишь в списках. Поэтому можно предполагать, что Иван Иванович писал не романы, а религиозно-нравственные сочинения масонского толка.

В 1781 году при «открытии губерний» Панаев вышел в отставку с небольшим относительно чином секунд-майора и поступил на гражданскую службу в провинцию. Его назначили в новооткрытую Пермь губернским прокурором. Здесь его и застает наша история ложи Золотого ключа.

Что побудило молодого (28 лет) столичного офицера оставить блага столичной жизни и возможности светской карьеры? Биографы его намекают на какие-то «благие намерения», но не поясняют их. А что, может, и в самом деле Иван Иванович решил нести в глухую провинцию свет всеобщего просвещения.

В чем-то внешне похожа история и его сочлена по пермской ложе Григория Максимовича Походяшина, сына знаменитого в истории Урала купца и заводчика, выбившегося из ямщиков в миллионеры, ставшего одним из богатейших людей России, о котором, например, П. А. Словцов, историк Сибири, писал так: «...Стяжавший безмерное богатство собственной промышленностью, достиг памяти как оригинал любопытный. Сын ямщика безграмотный, основатель огромных и разнообразных заведений, содержал в Верхотурье богатый дом, обучал своих детей по образцу дворянскому, а сам одевался как простолюдин, ходил в смуром кафтане с заплатами, свержу в армяке и черках».

Другой историк (Н. К. Чупин) оставил нам описание поместья Походяшиных, где прошло детство Григория: «Усадьба... состояла из целого квартала. Дом деревянный, но огромный... тридцать отлично

расписанных и мебелированных комнат; около стояли еще три дома, кухня, службы, скотный двор». Эту резиденцию Максима Походяшина охотно посещал губернатор Чичерин, в свою очередь гостеприимно принимавший у себя в тобольском своем дворце экстравагантного купца.

Максим Походяшин не был дворянином, но... деньги всеильны: в свои 14 лет Григорий был записан в привилегированный лейб-гвардии Преображенский полк, а спустя несколько лет он уже поручик (значит, получил дворянское звание). В Петербурге он вхож в светское общество, близко знаком с видными его представителями, но тянется больше к людям философского склада ума, размышляющим о нравственной природе человека. В эти же годы он стал членом ложи барона Рейхеля, как и Н. И. Новиков, который высоко ценил ее деятельность: «Тут было все обращено на нравственность и самопознание».

В декабре 1780 года Максим Походяшин умер и Григорию пришлось ехать на Урал хоронить отца и выяснять свои наследственные дела. Здесь летом 1781 года они и встретились с Панаевым, уже знакомые друг с другом по петербургской ложе Горуса, и стали основателями новой ложи.

Протоколы ложи мало что говорят нам о деятельности «рыцарей Золотого ключа» в тот год. Зато больше известно о их делах после закрытия ложи.

Хотя протокол закрытия указывает причиной отъезд Панаева, он будто никуда и не выезжал из Перми — продолжает числиться в той же должности по «Росписям чинов...» в последующие годы до конца жизни.

В 1786 году он стал одним из организаторов народных школ в крае и первым директором народных училищ Пермской губернии — этой стороне его дея-

тельности посвящены специальные статьи. Историки книжного дела приводят данные, что в 1788 году в числе лиц, которые «с немалой выгодой для Новикова выполняли обязанности его добровольных и бескорыстных комиссионеров», стоит имя И. И. Панаева. (Губернский прокурор в роли посредника политически неблагонадежного издателя!) В 1790 году именно через него получает Радищев, следующий в ссылку, деньги и необходимые для дальнейшего пути вещи, посланные в Пермь Воронцовым.

Это лишь то немногое, что удалось выявить по случайным источникам о деятельности этого интересного человека в Перми. А сколько «осталось за кадром»...

В 1796 году Иван Иванович Панаев поехал в Туринск хоронить отца, там простудился и спустя несколько дней, по дороге домой, умер в Ирбите. Его биограф С. В. Федосеев еще в конце прошлого века видел там в ограде собора памятник с высеченными на его гранях стихами: два из них посвятили отцу его сыновья Иван и Владимир (будущий известный литератор и академик), одно — «брат» Панаева по ложе Золотого ключа Лев Черкасов. Эпитафия Черкасова довольно ясно говорит о их масонской близости (через 13 лет после закрытия ложи!): «Под камнем сим сокрыт мой брат и друг почтенный, высокий в просвещеньи истины святой. Блажен он в небесах, здесь вечно незабвенный души и сердца несравненной простотой».

Совершенно по-особому сложилась дальнейшая судьба Григория Максимовича Походяшина, бывшего в пору ложи Золотого ключа гвардейским офицером, наследником богатейшего состояния, оставленного ему отцом.

Он тесно сблизился с Новиковым, а затем стал его другом и самым деятельным помощником. По

свидетельству самого Новикова, их сближало «сходство нравов, взаимная услужливость и откровенность».

Во всех трудах о жизни и деятельности Новикова имя Григория Походяшина, конечно, упоминается — главным образом в связи с финансовой поддержкой, оказанной предприятиям Новикова. И порой так, что это выглядело как чудачество, блажь богатого купца (а тон был задан еще аристократами-масонами из новиковского окружения — пренебрежительными отзывами в переписке и других документах). Новосибирская исследовательница М. М. Громько, обстоятельно изучив документы (многие из них были подняты впервые), пришла к выводу, что Походяшин — *идейный* соратник великого русского просветителя, пытавшийся всеми силами спасти его дело, когда над ним нависла гроза.

После переезда Новикова в Москву Григорий Максимович последовал туда же за ним, стал членом основанного Новиковым «Теоретического градуса» и руководимого им «Дружеского ученого общества» — организаций, намечавших широкие планы просвещения путем издательской и иной деятельности.

С 1787 года их судьбы уже неразрывны. В постигший Россию в тот год страшный голод Новиков раздал почти все свое скромное личное состояние крестьянам окрестных деревень. Но это были крохи, несообразные бедствию. Походяшин приходит ему на помощь — жертвует (безымянно!) сначала 10 тысяч рублей, а затем уже совсем огромную по тем временам сумму — 50 тысяч.

«С того времени, — писал потом в показаниях на следствии Новиков, — сделалось у г. Походяшина со мною тесное содружество и доверенность. Столь редкая доброта сердца исполнила меня на всю жизнь мою к нему искренним сердечным почтением и любовью». И заключал далее: «Искренне говорю, как

перед самим господом богом, в случае смерти моей поручал ему, как себе, жену мою и детей, и приучал их, чтобы они его почитали, как отца».

Походяшин деятельно участвовал и в книгораспространительской деятельности Новикова, иной раз беря на себя рискованные операции, чтобы отвести подозрения от друга, на которого уже начались гонения. Особенно он развивал свои связи с Сибирью. В 1787 году в Тобольскую семинарию поступило на 300 рублей книг «от Компании господина Новикова», несомненно, через Походяшина. Это видно уже по тому, что в том же году с его именем оказалась связанной еще одна книжная посылка.

Ее вручил тобольскому судье Якову Павлуцкому (брату пермских масонов Александра и Николая) поверенный Походяшина Попов. Это был тючок, зашитый в вошеную ткань и холст, в нем оказались «три письменные книги» и связка печатных указов (только ли?). Губернские власти почему-то заинтересовались этой, казалось бы, безобидной посылкой, потребовали от судьи объяснений. А судья, тоже непонятно почему, пугливо отказывается от нее — и адресована-то она не ему, а зятю, к тому времени покойному(!) чиновнику Тавайдакову; и что если он и обращался вместе с зятем (значит, обращался-таки), то совсем не за книгами, а за некими «домашними надобностями»; и что он, Павлуцкий, потом и сам писал Походяшину о той посылке, но ответа не получил.

Но прямо-таки подвиг совершил Григорий Походяшин, когда довелось спасти основное дело жизни Новикова — его Типографическую компанию, мощное книгоиздательское предприятие, предназначенное нести в полуграмотную Россию поток книг, служащих просвещению народа.

Когда Екатерина обратила на Новикова свой

державный гнев и вследствие этого началась цепь гонений на него, конфискация и уничтожение его изданий, Походяшин принялся затыкать финансовые бреши компании крупными субсидиями. А после ареста Новикова и конфискации всех его предприятий Походяшин — единственный из всех «акционеров»-учредителей — бросился выручать дело. В конце концов это стоило ему всех наследственных капиталов (к тому времени отцовские заводы были проданы за 2,5 миллиона рублей).

Смерть Екатерины, свирепо ненавидевшей Новикова, и воцарение Павла, благоволившего к масонам (потому что и сам некогда игрывал в масонство в пику матери) лишь ненамного поправили дела. Спасая от гибели конфискованные новиковские издания, Походяшин сумел пустить их в продажу через знакомых книгопродавцов и комиссионеров, а также через специально устроенную книжную лотерею, для которой он, кстати, составил «Роспись» — редкий для тех лет библиографический труд.

Все это в итоге разорило Походяшина. Но не призрак бедности угнетал его (современники утверждают, что он нес ее с достоинством и без жалоб), а неизбежная, несмотря на все усилия, гибель дела, которое он считал святым, и невозможность возродить его.

Умер Григорий Максимович в 1820 году, лишь на два года пережив своего друга и кумира, сохранив преданность его делу до конца дней своих.

Как много, оказывается, тянется нитей из Перми к Новикову! Все, что связано с Походяшиным, так или иначе ведет к этому замечательному человеку, радетелю русского просвещения. Мы знаем уже, что с ним был знаком и Панаев в период своей столичной жизни, поддерживал связи и потом, помогал

в распространении его изданий. Мы пока не знаем, насколько тесно были связаны с ним Александр Павлуцкий, Иван Черкасов, Ванслов Листовский и Исаев (поверенный Походяшина), но знаем, что они были знакомы по Петербургу и Москве.

То, что в протоколах ложи Золотого ключа не отразились эти связи и идейная близость к деятельности Новикова, еще ни о чем не говорит — протоколы писались не для этого, в них тоже продолжалась «игра в масоны» и они служили главным образом отчетом перед вышестоящей масонской инстанцией. А о чем говорилось в собраниях кроме этого, мы не знаем. Велись же, например, какие-то нерегламентированные беседы при четырехчасовом застолье в день открытия ложи 29 июля. Целых четыре часа! В день открытия — когда несомненно строились планы на будущее...

К тому же в 1783 году, в период, отраженный в протоколах, личные связи с Новиковым едва ли еще были прочными — Походяшин, например, стал его близким соратником позднее. Да и молодая губерния еще не была готова воспринять «новиковский дух» — стать местом приложения его идей.

Впрочем, личные связи Новикова с Пермью могли иметь место. Дело в том, что в 1783 году пермским вице-губернатором стал Александр Васильевич Алябьев (отец будущего известного композитора), женатый на близкой родственнице Новикова.

Но идейная близость, несомненно, была. Уже через некоторое время просветительские идеи Новикова проглядываются в развитии культурной жизни края. И в связи с этим возникают вопросы, на которые пока трудно дать аргументированный ответ, которые и ставить-то вроде бы преждевременно — фактов почти нет. Но ставить их, по-моему, надо — факты могут еще найтись.

Выше уже говорилось об участии Панаева в создании и руководстве народными училищами в губернии, о распространении новиковских изданий Панаевым и Походяшиным в Перми и Тобольске. Это факты бесспорные. А вот вопросы к некоторым другим фактам. Отнюдь не утверждения, а только лишь вопросы...

1789 год. В Тобольске открывается первая в Урало-Сибирском крае типография. Частная. До удивления быстро раздобыл редкое в то время оборудование для нее купец Корнильев, несомненно, знакомый Панаева (по давнему общению еще в доме Чичерина.) Вспомним, что у Новикова в тот год кончался контракт с типографией Московского университета, и он должен был что-то делать с припасенными на расширение дела ресурсами.

Нет ли связи между этими фактами? Может быть, здесь только случайное совпадение их, а может, недостает лишь одного какого-то факта, чтобы все они соединились в стройную цепочку?

1791 год. У служащих губернских учреждений Перми возникает идея основать типографию. В Москву (в Московский университет!) направляется совсем не знакомый с этим делом Петр Филипов, чиновник Верхнего земского суда (где, как мы помним, служили члены Золотого ключа Ашитков, Ванслов, Черкасов, Бейльвиц и, возможно, еще кто-то из тех, профессия которых в протоколах не указана). И, несмотря на полуотказ нового арендатора типографии Огорокова («в настоящее время нет в готовности требуемого количества литер»), без особых задержек Филипов достает необходимое и в своем отчете о поездке сообщает, что все потребное он отыскал «в иных казенных и партикулярных местах». Примечательно также, что, посылая Филипова в Москву (где было всего 9 типографий, против 15 в Пе-

тербурге), начальство выдало ему вместо требуемых по смете (кто ее составлял?) 1282 рублей 72 копеек всего лишь... 282 рубля с копейками, а тысячу «доплатил» кто-то через некоего Аполлона Андреевича.

Кто помогал пермякам обзавестись типографией?

1789—1796 годы. В Тобольске и Перми выходят издания, будто продолжающие тематическую линию новиковского книгоиздательства — книги научно-прикладного и справочного характера, столь нужные бедной на печатное слово стране. Три журнала — «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», «Библиотека ученая...», «Исторический журнал» (который историки печати называют первым на Урале и в Сибири краеведческим журналом), сочинения о сибирской язве и борьбе с нею, наставление об экстренной медицинской помощи, юридический словарь, «Описание растений...», «Слово о пользе физики», «Нужнейшие экономические записки для крестьян» — это в Тобольске (были и другого характера книги, но их меньшинство). А вот в Перми — «О сибирской язве и ее народном лечении» (автор, лекарь Михайло Гамалея — родственник Семена Гамалеи, близкого знакомого Новикова и члена его Типографической компании), «Подробное описание типографских должностей» знакомого нам Петра Филипова.

А что в эти годы с Новиковым?

1789 год. По указанию Екатерины у него отобрали аренда на типографию Московского университета — основной его издательской базы. Тогда же Походяшин продает отцовскую бумажную фабрику в Туринске не кому-нибудь, а Ивану Ивановичу Панаеву (хотя — зачем губернскому прокурору бумажная фабрика?).

Ноябрь 1791 года — ликвидация Типографической компании. Май 1792 года — арест Новикова, конфискация всех его предприятий. Оставшийся

«в подозрении», но на свободе, Походяшин старается спасти его дело, его издания...

Не по уговору ли с Новиковым, чувствуя надвигающуюся грозу, пытается Походяшин зажечь от новиковского факела скромный светильник в провинции — в его родном крае? Не их ли содействием объяснены возникновением пермская и тобольская типографии, пытавшиеся продолжить новиковские традиции?

Ставя эти «некорректные» вопросы, я сам ежусь от смущения — уж очень зыбки основания для постановки их. Но ведь если мы будем бояться таких вопросов, то можем пройти мимо фактов, прямо относящихся к ним — фактов давно известных, но не поставленных в цепочку размышлений, и новых фактов, которые могут еще найтись.

И дело тут вовсе не в масонах и масонстве. А в том круге людей, идейно близких Новикову — рыцарях Золотого ключа уже не в масонском смысле, — причастных к волне культурно-просветительских начинаний, всплеснувшей в последнее десятилетие XVIII века у нас на Урале. В этот круг можно и должно включить и тобольского книгоиздателя Василия Корнильева, и пермского «торедорщика» Петра Филипова, и их единомышленников и последователей. А о том, что последующие поколения уральцев, послуживших на ниве просвещения родного края, свято чтит имя Николая Ивановича Новикова, свидетельствует хотя бы такой факт: биограф известного общественного деятеля Перми и библиографа Д. Д. Смышляева сообщает, что «портрет Н. И. Новикова всегда украшал его квартиру». Не каждый в то время решился бы повесить у себя портрет человека, в котором самодержавие всегда видело своего врага, а мы чтим как одного из замечательных русских людей — верного и истинного рыцаря Золотого ключа.



ВОКРУГ МАМИНА

Теперь уже трудно установить, с чьей легкой руки зародился такой жанр, но он существует давно, свидетельством тому — названия книг и статей типа «Вокруг Чехова», «Вокруг Толстого», «Вокруг Пушкина» и другие. Обычно это мозаика сведений и фактов, как-то связанных с именем замечательного человека, но не претендующих на что-то целое, исчерпывающее.

Однако такая мозаика помогает высветить слабо изученные места в биографии писателя или в творческой истории произведений, иногда взглянуть на них под новым углом зрения, а то и просто поразмышлять над чем-то.

Уральцы преданно чтят память о своем замечательном земляке, большом русском писателе Д. Н. Мамине-Сибиряке. С каждым годом растет интерес не только к его произведениям, но и к его жизни — ко всему о нем и *вокруг него*. Нам интересны его дружеские и деловые связи, пристрастия и вкусы, взгляды на общественные и литературные явления той эпохи; стали важны даже незначительные, на первый взгляд, детали истории создания произведений, творческая «кухня» писателя.

И это не случайно, не от простого любопытства, ведь вся жизнь Мамина — это жизнь не только писателя, но и радетеля интересов края и его народа. А произведения его — не только занимательное чтение, но и целая энциклопедия большой эпохи

в истории Урала. Недаром о них так уважительно отзывался В. И. Ленин, а дооктябрьская «Правда» писала в некрологе: «Нарождаются новый читатель и новый критик, которые с уважением поставят твое имя на то место, которое ты заслужил в истории русской общественности».

6 КОПЕЕК ЗА СТРОЧКУ..

Мамин-Сибиряк был активным журналистом. Его всегда тянуло к газете. Если вначале приобретение к этой профессии было вынужденным — в голодное время учения в Петербурге пришлось зарабатывать на жизнь репортерскими заметками в случайных газетах, — то потом связи с периодикой стали как бы потребностью: публицистический запал требовал выхода. Список периодических изданий, в которых сотрудничал Мамин, включает десятки названий — столичных, приволжских, сибирских, уральских... Впрочем, уральских-то как раз очень мало, хотя именно в них ему и хотелось печататься в первую очередь — ведь все, о чем он писал, касалось прежде всего и больше всего родного ему Урала.

Конечно, Урал в то время был беден прессой: официозные «Пермские губернские ведомости» в Перми и «Екатеринбургская неделя» в Екатеринбурге. В 1886 году к ним прибавилась газета «Деловой корреспондент». Были еще «Епархиальные ведомости», губернские и уездные, но они не в счет. Однако главная причина крылась не в этом — ни с одной из уральских газет у писателя не сложилось отношений, прежде всего из-за расхождения во взглядах.

Особые надежды Мамин связывал с «Екатеринбургской неделей», где надеялся активно сотрудничать. Но газета попала в руки людей, представляв-

ших интересы горного ведомства, а с ними писателю, видевшему язвы горнозаводского дела на его родном Урале и поднимавшему свой голос против них, было не по пути. Многие годы он так и оставался лишь читателем «Недели».

Зато надежды вспыхнули вновь, когда в 1886 году редактором ее стал приехавший из Саратова журналист П. Н. Галин. Дмитрий Наркисович писал тогда матери: «Я там буду работать наконец. Целых восемь лет ждал возможности работать в своей газете... Как иногда достигаются трудно самые простые вещи! С этим письмом посылаю в «Неделю Екатеринбургскую» и свой первый очерк».

Это была большая статья «Кризис уральской горнопромышленности», напечатанная под псевдонимом NN в трех номерах газеты за 1886 год. Вскоре он опубликовал там два рассказа и несколько библиографических заметок.

Но не ради публикации рассказов стремился он в газету — рассказы его и так охотно печатали столичные издания. Дмитрия Наркисовича влекла туда возможность высказать в серии публицистических статей свои взгляды на экономическое положение современного ему Урала. На одну из страниц записной книжки того времени Мамин заносит обширный список тем «передовых статей», которые он собирался предложить «Екатеринбургской неделе».

Список показывает широту публицистических замыслов писателя. Здесь перечисляются такие темы, как «О съездах горнозаводчиков. О кустарных промыслах. О значении ярмарок. О статистике. Об уральском землевладении. О значении уральской истории. О башкирах. Об озерах. О пчеловодстве. О городском хозяйстве. О народном образовании. О благотворительности. О медицине: наука и практика. О земском хозяйстве. О золотопромышленно-

сти. О каменном мастерстве. О лесном хозяйстве. О каменном угле. О горнозаводских товариществах на казенных заводах, именно в Гороблагодатском округе. Об эмеритуре горных инженеров: где деньги, которые вносили рабочие монетного двора и другие. Судьба капитала Петрова, пожертвованного на воспитательный дом».

Такого списка тем газете хватило бы на целый год.

«Екатеринбургской неделе» было заманчиво заполучить в сотрудники широко известного писателя в надежде на будущие его рассказы, легенды, очерки, которые украсили бы газету. А тут — публицистика. Да еще на такие острые темы...

Темы, намеченные Маминым, в газете так и не появились. Но редакция стремилась удержать его... ну, если не любой, то, можно сказать, *повышенной* ценой. Этому нашлось неожиданное подтверждение.

Редактор «Екатеринбургской недели» П. Н. Галин имел обыкновение в конце года переплетать для себя комплект газеты. В него часто попадали и разметочные номера — те, на которых в редакции делалась разметка гонорара авторам. Теперь эти номера стали историческими документами — они позволяют установить авторство безымянных статей и раскрывают псевдонимы.

После смерти Галина его комплекты оказались рассеянными по библиотекам Урала. На один из них я и набрал в отделе редкой книги Челябинской областной публичной библиотеки. И так получилось, что комплект открылся как раз на одном из разметочных номеров. Да еще на странице, на которой жирно выведено: «Мамин б». Напечатано это на статье «Сборник критических статей о Н. А. Некрасове», под которой стоит подпись «Д. М-н».

Поскольку рукописи этой статьи не сохранилось, не встречается упоминания о ней и в переписке пи-

сателя, то исследователи с осторожностью — под вопросом — включали ее в список его произведений. То же самое можно сказать и о другой библиографической заметке — о «Всеобщей истории литературы» под редакцией В. Ф. Корша. Но теперь их можно включать в библиографию Мамина уже без знака вопроса — обе они помечены в комплекте его именем.

А цифра 6 здесь обозначает не что иное, как расценку для оплаты статьи — шесть копеек за строчку. Просматривая другие разметочные номера этого комплекта за 1886 год, убеждаешься, что по такой ставке больше никому не платилось, все материалы расценивались из расчета 2—3 и лишь иногда по 4 копейки за строчку. «Экстра-плата» в 6 копеек не так уж много значила при нерегулярном сотрудничестве, но зато свидетельствовала о внимании редакции к автору и поднимала его престиж в других изданиях.

Однако сотрудничество Мамина в «Екатеринбургской неделе» было недолгим — всеядность газеты, ее нежелание ссориться с горнопромышленниками и крупными купцами претили Дмитрию Наркисовичу. К тому же по поводу его статьи о кризисе уральской горнопромышленности в газете разгорелась дискуссия, в которой редакция заняла уклончивую позицию. Мамин отошел от газеты. Одно время он даже подумывал о создании вместе с группой близких ему людей своей газеты, но эта затея не увенчалась успехом.

ОТ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА

В ноябрьской книжке журнала «Современный мир» за 1912 год критик Вл. Кранихфельд опубликовал статью, посвященную памяти недавно скончавшегося Д. Н. Мамина-Сибиряка. Поскольку покойный писатель многие годы был другом этого журна-

ла, то автор статьи построил ее на фактах связи писателя с журналом, который до 1906 года носил имя «Мир божий».

Надо сказать, что, несмотря на такое «религиозное» имя, журнал не имел к религии никакого отношения. В разные годы в нем сотрудничали такие писатели, как И. Бунин, В. Вересаев, М. Горький, Н. Гарин-Михайловский, А. Куприн, К. Станюкович, П. Якубович, известный библиограф Н. Рубакин. Здесь впервые на русском языке был опубликован роман Э. Войнич «Овод». В середине 90-х годов тут печатались статьи, ведущие борьбу с народничеством с позиций «легального марксизма». Они вызвали критику В. И. Ленина, однако Владимир Ильич относился к журналу с симпатией и в 1898 году опубликовал в нем рецензию на книгу А. Богданова «Краткий курс политической экономии».

Мамин-Сибиряк напечатал здесь многие свои произведения: три романа и около десятка рассказов и очерков. К журналу его привязывали не только литературные симпатии. Издательница «Мира божия» Александра Аркадьевна Давыдова после смерти жены писателя приняла на себя все заботы об осиротевшей Аленушке, можно сказать, заменила ей мать и надолго сделалась близким и необходимым другом дома Мамина. На материале писем к ней Дмитрия Наркисовича и была построена статья Кранихфельда.

Письма эти, взятые из архива дочери Давыдовой — М. К. Иорданской, Кранихфельд опубликовал не полностью, а только то из них, что ему казалось нужным для статьи. Но тех, кто после захотел бы прочитать письма целиком, ждало разочарование — их не было ни в одном из архивохранилищ литературно-исторических материалов.

Каково же было удивление, когда в 1957 году

в Ленинградской театральной библиотеке научный сотрудник ее Вера Львовна Штейншнайдер подала мне нетолстую папочку с надписью: «Письма Д. Н. Мамина-Сибиряка к А. А. Давыдовой». В ней-то и оказались те самые письма, которые цитировал в «Современном мире» Вл. Кранихфельд.

В паспорте значилось: «Приобретено у Н. А. Дорингофской из собрания И. Ф. Мануйлова». Особенно странно здесь было видеть имя И. Ф. Манасевича-Мануйлова — посредственного драматурга, известного больше как сотрудника суворинского «Нового времени», чиновника департамента полиции и агента охранки, прожженного афериста и беззастенчивого вымогателя. Когда и как он прибрал к рукам эти документы — кто знает...

Теперь представлялась возможность прочесть письма полностью. Выяснилось, что многое Кранихфельд из них извлек и опубликовал. В том числе отзывы писателя о Чехове и ставшие общеизвестными теперь высказывания о детской литературе. Основное место в письмах занимают хлопоты о популяризации молодого еще тогда журнала и взволнованные заботы об оставленной в Петербурге «отеческой дочери» — Аленушке.

Но «за бортом» осталось еще много такого, что, может, и не имело общелитературного значения, однако имело значение для биографии писателя. Нельзя и сейчас без волнения читать эти письма, посланные в трудную для Дмитрия Наркисовича пору — еще не зажила рана, нанесенная смертью горячей любимой жены; на руках неизлечимо больная страшной болезнью двухлетняя дочь, лишенная материнской любви и ухода; непривычные и досадные заботы по домохозяйству; забота о хлебе насущном — дом требует денег... А нестерпимо тянет работать, работать, работать — столько замыслов, неокончен-

ных произведений, начатых еще на Урале, обещания и долги редакциям! Клубок мелких и важных дел, перемешанных так, что не поймешь, как его распутывать...

В апреле 1894 года Дмитрий Наркисович ездил в Москву и пробыл там почти три недели, ведя, как он писал, «разную интригу» с издателями и редакциями, устраивая свои произведения и выполняя просьбы А. А. Давыдовой о ее журнале «Мир божий». В июне—июле он отправился в Липецк и Усмань, где много и успешно поработал в спокойной обстановке над романом «Без названия», а в конце июля уже был в Москве.

Письма той поры еще ждут отдельной публикации и специального комментирования. Здесь же хочется остановиться на одном лишь письме.

19 апреля 1894 года Мамин пишет Давыдовой из Москвы: «В течение 2 1/2 недель, прожитых в Москве, я уже заработал более пятисот рублей» — и перечисляет: где, в каком издании, сколько. А далее — «Познакомился с издателем «Артиста» Новиковым и взял большую безымянную работу: отчеты о театрах, выставках и вообще по художеству. Я давно добивался именно такой работы».

Это уже дает интересную зацепку — искать, может быть, еще не известные нам произведения Мамина, напечатанные без подписи в журнале «Артист».

...Комплект журнала за 1894 год на столе. Но как и что там искать среди сотен безымянных материалов? Отчеты «о театрах, выставках и вообще по художеству» многочисленны и... однообразны, писались на один манер, как по трафарету. Остается одно — прикидывать, из какого города мог быть послан отчет.

Москва?.. Но там своих корреспондентов хватало, незачем привлекать для такой черновой работы по-

сторонних. Вернее, что Мамин брал задание от редакции на период поездки. А тут пункты остановок известны — Усмань и Липецк. Усмань, уездный городок с десятком тысяч жителей, слишком мал для сколько-нибудь значительных выставок и приличных театральных трупп. Может, Липецк?..

Есть! В одной из двенадцати книжек журнала за тот год напечатана корреспонденция из этого города — в № 41 за сентябрь:

«Липецк. (От нашего корреспондента). Летний сезон в Липецке редко проходит без театральных представлений...»

Вообще-то говоря, отчет как отчет — по стандарту, принятому в журнале для такого рода корреспонденций: состав труппы, репертуар, кто что играет и как, материальные дела театра и тому подобное. Ничто не говорит о том, что корреспонденция написана уже известным в ту пору писателем-беллетристом. Но ведь для такого материала перлы стиля и не нужны — это всего лишь отчет, к тому же безымянный.

Однако, может быть, его написал кто-то из местных корреспондентов? Конечно, такая возможность не исключена. Но ведь за весь год лишь одна статья! Да и то не о зимнем — основном — сезоне, а о летнем, «дополнительном». Едва ли бы местный автор ограничился одной-единственной статьей.

А Мамин? Мамин вполне мог. В Липецке он был с 26 по 30 июня и еще дней десять в июле. В письме от 29 июня он пытается невесело пошутить: «Сейчас познакомился в саду с одной актрисочкой: хорошенькая...» Возможно, что знакомство с актрисой привело его в театр, к беседе с антрепренером, а затем и к отчету-корреспонденции в «Артисте».

Конечно, если бы даже нашлись несомненные доказательства принадлежности этого материала Мамину, в собрание сочинений его включать не станут.

Но биографам писателя и этот, пусть незначительный факт может быть интересен.

ЕЩЕ О «ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКАХ»

Мамин-Сибиряк всегда любил театр. Участь в семинарии, экономил пятаки, чтобы лишней раз попасть на галерку Пермского театра. Позднее в Нижней Салде сам участвовал в любительских спектаклях, в Екатеринбурге состоял членом совета драматического отделения музыкального кружка, дружил с актерами местных трупп. И, естественно, став писателем, не раз пробовал силы и в драматургическом жанре. Но сцену увидела лишь одна его пьеса — «Золотопромышленники», остальные так и не были закончены.

Да и «Золотопромышленникам» не повезло. Она прошла без особого успеха в Екатеринбурге, Казани, Иркутске и в Московском театре Корша. Она появилась и в печати (в журнале «Наблюдатель»), но составители так называемого «Полного собрания сочинений», изданного фирмой А. Ф. Маркса в 1915—1917 годах, пьесу в него не включили.

Лишь в советское время о пьесе вспомнили, и она с большим успехом прошла во многих театрах страны (впервые — в Свердловске в 1954 году). По ней был снят кинофильм «Во власти золота». Тогда же, естественно, усилился и интерес к истории пьесы.

А от истории-то к тому времени сохранилось не так уж много: две-три рецензии о екатеринбургской постановке и столько же о московской да несколько строк в переписке Мамина с родными. Неизвестна была даже афиша первого спектакля, и мы не знали всех участников его.

Тем радостнее была встреча в Центральном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) с двумя до-

кументами, связанными с этой историей. То было заявление о принятии в члены Общества драматических писателей и композиторов и приложенная к нему программа первого спектакля. В заявлении Мамин писал:

«В Общество русских драматических авторов.

Прилагая при сем афишу написанной мной пьесы «Золотопромышленники» (сцены в 4-х действиях), покорнейше прошу принять меня в число членов Общества русских драматических писателей. Предоставляя Обществу охранение своего права драматической собственности, заявляю свою готовность подчиняться Уставу Общества и представляю свой членский взнос в размере 15 рублей.

Дмитрий Мамин (Сибиряк).

1887, 16 ноября, Екатеринбург.

Адрес: Екатеринбург, Колобовская ул., д. 41-й.

Дмитрий Наркисович Мамин».*

Интересна и афиша (вернее, театральная программа). Из нее мы впервые можем узнать имена всех занятых в спектакле артистов — в рецензиях упомяната лишь часть их.

Так, Молокова играл М. А. Михайлов (Дмоховский), известный в провинции, а потом и в Москве комик-буфф; его жену — М. К. Шаровьева, талантливая актриса, впоследствии приглашенная в Александринский театр; Елену Засыпкину — даровитая артистка Э. Ф. Днепрова-Мерц, а ее муж В. М. Днепров исполнил роль Чепракова; адвоката Белоносова — сам антрепренер П. П. Медведев, неплохой комик-резонер; Ширинкина — многоопытный комик К. О. Суревич, Василия Воротова — популярный герой-любовник, хороший знакомый Мамина Я. С. Тинский, впоследствии актер столичных теат-

* ЦГАЛИ, ф. 316, оп. 1, ед. хр. 120.

ров. Роли няни и горничной играли второстепенные актрисы Пивоварова и Вейман.

Смотришь этот перечень и удивляешься — такие даровитые и опытные артисты, а спектакль получился неудачным. Почему?

Ну, уже хотя бы потому, что были завалены две главные роли пьесы. Явно не подходила к роли красавицы Анисьи толстая и неуклюжая жена антрепренера Е. П. Васильева-Вятская. А основную роль — Засыпкина — провалил актер В. А. Великанов, взявший пьесу для своего бенефиса.

И тут к месту вспомнить об особенностях одной давней традиции дореволюционного провинциального театра — о бенефисах, то есть спектаклях, сбор с которых шел в пользу артиста-бенефицианта и служил как бы неофициальной надбавкой к жалованью. Поэтому чаще всего актеры выбирали для бенефиса пьесы, сулившие хороший сбор. Старые театралы вспоминают, что с бенефисных афиш иногда прямо-таки «капала кровь» — чего стоили такие названия, как «Брат сатаны и сын дьявола», «Кровавая могила», «Демоническая тайна» и другие, подобные им. Готовились такие спектакли обычно наспех, на один раз — лишь бы сбор сорвать.

Вот и Великанов, артист бывалый, но рутинный, к серьезным ролям непригодный, выбрал пьесу для бенефиса не без хитрого умысла. Екатеринбург был известен как «золотой город», резиденция многих золотопромышленников. Как видно из рецензии, они-то и клюнули на эту приманку: «Многие заинтересовались новой пьесой, в надежде, не списал ли Д. Н. Мамин свою бытовую хронику с «натуры», то есть не пустил ли кого-нибудь «в комедию» из золотопромышленников». Театр был, что называется, битком набит. А только этого и надо было бенефицианту. Кое-как поставленная за несколько дней пьеса

его больше не интересовала — сбор был у него в кармане. К тому же в городе уже знали из рецензии, что «г. Мамин никого не задевает» (интересно заметить, что автором «кислой» рецензии в местной газете был... чиновник полицейского управления Архангельский, скрывшийся для пущей конспирации под псевдонимом «Приезжий», а Дмитрий Наркисович об этом так и не узнал — это стало известно лишь не так давно).

Нечто подобное получилось и в Московском театре Корша — спектакль не спасло и участие в нем таких актеров, как В. Н. Давыдов, А. Я. Глама-Мещерская, Л. И. Градов-Соколов — пьеса и здесь ставилась для *бенефиса* второстепенного актера Н. И. Валентинова.

ЗАПИСКА

В автографах замечательных людей есть что-то волнующе притягательное. И не потому только, что он может открыть неизвестный ранее факт из биографии выдающегося человека или позволит по-новому прочесть какое-то общеизвестное его произведение. С интересом вглядываешься в почерк, пытаешься уловить настроение, с каким писались эти строки, и обстановку, сопутствовавшую им. Вглядываешься в бумагу, на которой они написаны: наспех вырванный из тетради листок или добротный гляцевый бланк «заказной» почтовой бумаги с вензелем автора — за этим угадываются пристрастия и вкусы человека, обстановка его быта.

Кто видел рукописи Мамина-Сибиряка, несомненно, отметит четкий и неизменно аккуратный его почерк, свидетельствующий о ровности характера, о привычке к аккуратности, привитой еще в детстве в семье. Читать его одно удовольствие.

Рукописей Мамина-Сибиряка мне довелось поддержать в руках немало — и черновики его произведений, и писем разных лет, и записных книжек, и просто почеркушек. И везде почерк был примерно одинаков и не составлял для прочтения никакого труда. Это говорило об уважительном отношении к написанному слову, к человеку, который будет читать адресованные ему строки.

Вот уже много лет я бережно храню небольшой листок — записочку Мамина-Сибиряка. Это не отрывок из рукописи какого-то произведения и не письмо, которое представляло бы интерес для биографии писателя, а просто лишь записка в книжный магазин с просьбой выдать несколько экземпляров поступивших в продажу его книг. Но она дорога мне возможностью как бы интимного общения с любимым писателем, с человеком, жизнь которого меня всегда интересовала как пример служения и преданности родному краю.

Записка набросана на «секретке» — так назывался забытый ныне вид почтового отправления: сложенный вдвое листок с перфорированной по периметру каймой.

На внешней стороне секретки стоял адрес:

«В книжный магазин «Русской мысли» — Никитская», а на обороте текст:

«17 марта 98 г.

Москва, номера «Петергоф».

Милостивый государь.

Будьте любезны, передайте моему посыльному по 15 экз. «Хлеба» и «Охонинных бровей». Утром я говорил об этом с Иннокентием Федоровичем.

Д. Мамин-Сибиряк».

И все. Ничего особенного. Мало ли каких записок напишет за свою жизнь человек. А мне этот листочек дорог. Почему? Кто хочет понять — поймет...



ЗАБЫТАЯ ДРУЖБА

Среди круга друзей и близких знакомых Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в период его жизни в Екатеринбурге (1878—1891) чаще всего упоминают имена, названные его первой женой М. Я. Алексеевой в беседах, записанных В. П. Чекиным в 1913 году и А. И. Шубиным в 1921 году*. Это юристы Н. Ф. Магницкий, И. Н. Климшин и М. К. Кетов, податной инспектор А. А. Фолькман и местный литератор Н. В. Казанцев. Остальные знакомства Мария Якимовна назвала «преимущественно шапочными».

Но круг близких знакомых был, конечно, значительно шире. Мамин, общительный человек, жадный до интересных людей, имел в Екатеринбурге немало близких знакомств, которые можно, а иногда и необходимо, назвать дружбой. Сам бы он, несомненно, так и сделал.

Так, известно, что он просиживал целые вечера у музыканта Владимира Ивановича Мещерского, сына старого капельмейстера горного оркестра, игравшего еще при генерале Глинке. Часами любил беседовать о старообрядческой старине с Феклушкой, старушкой-приживалкой у Казанцевых, они были даже на «ты» и трогательно заботились друг о друге. С Иваном Васильевичем Поповым, большим зна-

* Напечатаны в кн.: Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 1962.

током края, писатель много ездил по Уралу, да и дома они не могли долго прожить друг без друга. Ценил Дмитрий Наркисович дружбу с врачом-подвижником Б. О. Котелянским, с краеведом-библиографом П. М. Вологодским. Все более сближался с тянувшимся к нему художником и камнерезом, пропагандистом уральского камня А. К. Денисовым-Уральским. Тесно общался с актерами местной труппы.

Все это были разные люди, по-разному интересовавшие писателя — и как интересный типаж для будущих произведений, и как источник информации о прошлом и настоящем края, и как друзья дома, помогавшие проводить вечерний досуг в беседах о литературе, о местных новостях, о событиях в стране и в мире, в шутливых импровизациях и остроумных спорах.

Но в эти же годы у Мамина завязалась дружба с человеком, оставившим большой след в его душе и к которому он всегда питал чувство привязанности, почтительного уважения к его взглядам, к делам его жизни.

Имя этого человека Александр Александрович Ольхин. Та же М. Я. Алексеева упоминала о нем, но как-то вскользь, а другие воспоминатели об этом друге Мамина умолчали, будто его и не было. Впрочем, причина, пожалуй, понятна — афишировать знакомство с политическим ссыльным не всем в то время представлялось желательным и удобным.

В рассказе о екатеринбургских друзьях писателя Алексеева говорит об Ольхине кратко: «Трудно забыть Ольхина, сосланного в Екатеринбург, автора удачного либретто для оперы, не напечатанного по цензурным условиям». И все. Почему именно *трудно забыть* — не досказала...

Санкт-Петербургский присяжный поверенный Александр Александрович Ольхин был сослан в Шадринск в начале 1880 года. К этому времени за ним накопилось уже немало деяний, позволявших царским властям считать его опасным для существующего строя.

Жизнь Ольхина поначалу складывалась так, что ничто в ней не предвещало такой ситуации. Родился он в семье видного военного деятеля, артиллерийского генерала, владельца обширного родового имения Белоостров (ныне город Ленинградской области). Домашнее воспитание под руководством солидных педагогов. Привилегированное учебное заведение — Александровский лицей, со времен Пушкина готовивший кадры высшей бюрократии для правительственных учреждений. Многообещающее начало карьеры — служба в Министерстве иностранных дел, ответственная должность консула в Варне, бывшей тогда форпостом военной политики России на Балканах.

Затем, в 1865 году, первый неожиданный шаг — отставка с казенной службы и выдвижение своей кандидатуры в мировые судьи. Четыре года службы на этом непрезентабельном, с точки зрения людей его круга, посту, на котором он «обратил на себя внимание тенденциозностью своих решений», как значилось в полицейских донесениях. Знакомство с участниками революционно - демократических кружков Петербурга. И новый, теперь уже более закономерный шаг — определение присяжным поверенным. Но не для того, чтобы витийствовать на громких уголовных процессах, служивших своеобразными представлениями для «чистой» публики столицы. Безымянный автор некролога в «Историческом вестнике» (1898, кн. 1), несомненно близко знавший Александра Александровича, писал о его деятельности в этой

роли: «Как адвокат, Ольхин не был величиною первого разряда, в его формуляре не значится шумных и сенсационных процессов... Это был деятель, что называется, «рядовой», но сердечный и в высшей степени гуманный».

По цензурным условиям автор некролога умолчал о деталях этой *рядовой* деятельности — об участии в защите по громким политическим процессам тех лет по делу «нечаевцев» (1871), по делам революционного народника Дьякова (1875), участников демонстрации у Казанского собора (1877), по делу «50-ти» (1877), наконец, по особо громкому делу, взволновавшему всю страну — делу «193-х» (1878). Имена некоторых защитников вошли в историю этих процессов наряду с именами их подзащитных — такие выступления на суде часто являли собой не только акт гражданского мужества в условиях черной реакции, но и были свидетельством вполне определенной политической направленности.

Не мудрено, что с таким «штатным» политическим защитником власти поспешили расправиться при первом же удобном случае. В ноябре 1879 года его наспех присоединили к делу Мирского и Тархова, обвинявшихся в покушении на шефа жандармов Дрентельна. Обвинения, предъявленные Ольхину, были столь бездоказательны и нелепы, что суду пришлось его оправдать.

Но это — суд, который руководствовался при этом хоть какими-то да законами. А у властей имелись в распоряжении средства, не требующие ссылок на законы и права, — административная ссылка. К этому спасительному средству и прибегло Министерство внутренних дел, отправив Ольхина сначала в Яранск, Вятской губернии, а потом подальше — в зауральский городок Шадринск.

Конечно, участие в защите по политическим про-

цессам само по себе не могло служить причиной для преследований. Большинство адвокатов после процессов спокойно продолжали свою обычную деятельность, тем более что далеко не все из них разделяли политические взгляды своих подзащитных. Но за Ольхиным к этому времени числилось уже немало других крамольных деяний.

В делах охранного отделения накопилось толстое досье донесений о связях «неудобного» адвоката с революционно-демократическим движением. Не принадлежа формально к революционной партии народников «Земля и воля», Ольхин был тесно связан с ее деятелями, оказывал организации ряд важных услуг, сотрудничал в ее нелегальных печатных органах «Начало», «Земля и воля». Об этом тепло писал в своих воспоминаниях известный революционер Н. А. Морозов-Шлиссельбуржец*.

Выразительную характеристику давал Ольхину департамент полиции в своей служебной справке: еще с 1878 года он стал «появляться в самых темных кружках, знавшихся с подонками общества, и в этой темной среде читал и пел революционные песни, иногда даже сочинял их. Так он сочинил переделку «Дубинушки» в самом возмутительном духе и просил доставлять ему песни, поющиеся между фабричными, чтобы переделывать их на революционные»**

«Дубинушка» тут упомянута не случайно. Как свидетельствуют исследователи, переделка Ольхина «значительно усилила революционную направленность стихотворения». Стихотворения, ставшего на

* Морозов Н. А. Повести моей жизни. т. III и IV. М., 1932.

** Опубликовано во вступительной статье В. Петровского к книге С. М. Кравчинского «Смерть за смерть», 1920, с. 9—10. «Подонками общества» полицейские стилисты называли здесь рабочих.

долгие годы популярнейшей революционной песней. Ее пели и на рабочих маевках, и демонстрациях, и в тюремных камерах, и даже — в смягченном варианте... на концертной эстраде — ее с успехом исполнял Федор Иванович Шаляпин.

Как революционный поэт, Ольхин был известен не только «Дубинушкой». Его стихи печатались в легальной и нелегальной прессе, перепечатывались в подпольных типографиях, на гектографах и мимеографах, распространялись в числе «потаенной» литературы. Особенно показательны в этом отношении его стихотворения: «У гроба», посвященное казни революционерами шефа жандармов Мезенцева; проникнутое революционным пафосом, воспевающее идеал поэта-гражданина стихотворение «Нашим поэтам»; широко популярное в революционных кружках и посвященное Н. А. Морозову «Мыслью отзывчивой, чуткой душою...» и другие.

Всего этого было вполне достаточно власть предержащим, чтобы упечь такого одиозного человека подальше от столиц.

Ольхин знал, что в Шадринске ему придется задержаться надолго, поэтому приехал сюда с семьей (забегая вперед, скажем, что здесь он похоронил горячо любимого друга — жену). Нашел удобную квартиру, присмотрелся к жизни провинциального городка. Но его неугомонная натура сказала уже в первые месяцы: в мае того же года Ольхина арестовали «за произнесение дерзких слов против особы государя-императора» и посадили в одиночку местной тюрьмы, где он и просидел целый месяц, ожидая решения своей участи. До суда дело как-то не дошло, но срок ссылки был увеличен еще на два года, сверх четырех, назначенных ранее.

Шадринцам он понравился и запомнился. В 1930—1940-х годах В. П. Бирюков записал со слов

старожилов несколько интересных рассказов о пребывании Ольхина в Шадринске. Из них видно, что Александр Александрович устраивал лекции для взрослых и для детей на естественнонаучные и исторические темы, участвовал в любительских спектаклях, оказывал юридическую помощь крестьянам в их судебных тяжбах с землевладельцами. Выезжал и в Екатеринбург, где завел связи с редакциями газет.

Вероятно, именно в это время он и познакомился с Маминым-Сибиряком (хотя не исключена возможность, что они познакомились в Петербурге в конце 1870-х годов, когда родственник писателя Гавриил Алексеевич Мамин проходил по делу «193-х», на котором Ольхин был защитником). Но в январе 1887 года, когда еще не кончился срок ссылки у Ольхина, они уже были знакомы. Об этом свидетельствует неопубликованное письмо Мамину от 16 января в ответ на его просьбу принять на себя хлопоты по делу о земле какого-то крестьянского общества. Примечательно, что Мамин обратился именно к нему, хотя среди его друзей дома — три юриста!

«Не отвечал Вам сразу, Дмитрий Наркисович, потому что не сразу решил, как поступить. Дело настолько серьезно, что взяться за него было бы в высшей степени интересно. Но все же я пришел к заключению, что с моей стороны правильнее устранить себя от него», — пишет Ольхин. И далее объясняет причину — дело потребовало бы частых выездов представителя крестьян к нему в Шадринск, из которого он сам пока отлучаться легально не может. «Из Вашего письма видно, что дело очень путаное, так что, пожалуй, и десятки свиданий ни к чему не приведут, а потребуются поездка доверенного в разные города». Поэтому Ольхин рекомендует или обратиться к его доброму знакомому, петербургскому юристу В. Н. Герарду, или ожидать конца ссылки, когда

Ольхин сам может официально принять дело к ведению его на суде. «Срок моей ссылки оканчивается 9-го сентября. Так как за нею последует еще по крайней мере год «негласного надзора» и в это время запрещается въезд в столицы, то я думаю провести этот год или больше в Екатеринбурге. Тогда я получу все свои права, в том числе право защищать дела и передвигаться куда вздумается» *.

Письмо Мамина, из которого можно было бы понять суть этого дела, к сожалению, не найдено.

Но в Екатеринбурге Ольхин появился несколько раньше указанного им в письме срока. Об этом, как и о его занятиях в городе в последующие месяцы, можно узнать из протоколов собраний Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) и заседаний его комиссии по устройству Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки (опубликованы в «Записках УОЛЕ», т. X, вып. 1—4).

Уже 30 июля 1887 года Ольхин упомянут в протоколе общего собрания членов УОЛЕ в числе приглашенных гостей. Через неделю, 6 августа, опять присутствует на общем собрании, вместе с Маминым. 6 сентября и 8 октября участвует в заседаниях комиссий по выставке уже как представитель газеты «Деловой корреспондент». И так далее. По-видимому, к этому времени правовое положение Ольхина упрочилось — сам губернатор включил его в состав одной из комиссий выставки, с упоминанием его звания присяжного поверенного. Участвовал в этих комиссиях и Мамин.

В конце года, вероятно, в декабре, Александр Александрович переехал в Нижний Новгород. Значит, екатеринбургский период его жизни ограничива-

* Публикуемые здесь письма А. А. Ольхина хранятся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 157, п. 3.

ется июлем — декабром 1887 года. Но именно эти пять-шесть месяцев и стали временем тесного сближения Мамина и Ольхина, которое перешло в преданную дружбу, длившуюся до самой смерти Ольхина в 1897 году.

Свидетельств об их отношениях в ту пору почти не осталось. Причины тут могут быть разные. И в первую очередь «политическая неблагонадежность» Ольхина. Вполне благонадежные старые друзья Мамина, вероятно, относились с опаской к его новому другу, а может, и ревновали к нему, видя, что в этой дружбе писатель более заинтересован, чем в приятном, но легковесном времяпрепровождении с ними.

Несомненно одно — что общение в эти месяцы было тесным и взаимообогащающим. Переехав в 1891 году в Петербург, Дмитрий Наркисович спешит разыскать Ольхина, еще не зная, что Ольхин, проведая о приезде Мамина, сам ищет старого друга. В один и тот же день, 9 сентября, они обменялись письмами.

Ольхин писал: «Случайно узнал о Вашем приезде в Петербург и почти случайно ваш адрес. Жалею, что не застал, п(отому) ч(то) живу не в самом Питере, а по соседству, куда и извольте пожаловать. Желая Вас видеть, буду на этот раз считаться визитами. Мой адрес: Финл(яндская) ж(елезная) д(орога), станц(ия) Белоостров. Там живу теперь зиму и лето. Если наперед уведомите о дне, выеду к Вам на встречу, иначе придется проехать 3 версты на извозчике.— В городе бываю редко и всегда на самый короткий срок по делам. Подробности при свидании. Крепко жму Вашу руку. А. Ольхин».

Мамин отвечал: «Дорогой Александр Александрович, душевно был рад найти Вашу записку на своем письменном столе, ибо искал Вас и не нашел. Писал нарочно доктору Караваеву, с просьбой сооб-

щить Ваш адрес, но ответа не удостоен... Живу в Петербурге уже с марта месяца и очень жалею, что раньше не узнал Вашего адреса, потому что все лето прожил в Лесном и с удовольствием съездил бы к Вам в Сестрорецк. А сейчас я до того завален работой, что в буквальном смысле дохнуть некогда.

Дома я почти постоянно, а если Вы соберетесь ко мне, то известите записочкой, и я буду Вас ждать и душевно буду рад Вас видеть.

Жму Вашу руку.

Д. Мамин.

Кстати, есть к вам и дело. Редакция «Русских ведомостей» издает сборник в пользу голодающих, и недавно мне писал проф. Анучин, что у них недостает стихов, а поэтов в Москве нет, и поэтому просил обратиться к питерским поэтам. Вот не найдется ли у Вас чего-нибудь, а то и нарочно сочините»*.

Сборник такой вышел («Помощь голодающим». Научно-литературный сборник. Изд. «Русских ведомостей». М., 1892). Стихов Ольхина в нем нет. А Мамин дал для него легенду «Лебедь Хантыгая».

Легенда заинтересовала Ольхина. Сразу же после выхода сборника он пишет автору (в январе 1892 г.): «...Я с огромным наслаждением прочитал Вашего «Лебедя Хантыгая». Прелестно! А легенда до того хороша, что становишься в тупик. Скажите, строго ли Вы придерживались предания? Меня смущает тип хакима Ургуудзля. Он слишком высок и недостаточно правоверен для башкира. Да и почему он остается аскетом при своем деятельном гуманитарном взгляде на жизнь? Если Вы его создали сами, то признавайтесь, а если он взят Вами из настоящей народной легенды, то я просто теряюсь и должен предположить,

* Письма Д. Н. Мамина-Сибиряка к А. А. Ольхину хранятся в отделе рукописей Пушкинского дома (ИРЛИ АН СССР), ф. 93.

что у башкир была когда-то очень высокая цивилизация и что они прожили Золотой век, подобный арабскому. Подробно поговорим при встрече, а пока да немедленно отпишите на Морскую, 26:1, о здоровье Мар(ии) Мор(ицевны) и 2, о подлинности Ургуудзля. Жму Вашу руку...»

Дома у Маминых в те дни царил тревожная обстановка — жена писателя Мария Морицевна готовилась стать матерью. Врачи предполагали трудные роды. Поэтому в начале письма Ольхин, как мог, успокаивал друга.

28 января Мамин отвечал ему: «Дорогой Александр Александрович, мы все еще находимся в ожидании, хотя и было уже несколько тяжелых дней, как тот, в который Вы были у нас. Очень благодарны Вам за внимание и немедленно известим, когда все разрешится.

Затем, относительно «Лебедя Хантыгая», я должен признаться, что позаимствованы мной только одни собственные имена, а содержание придумано от первого до последнего слова мной. Легенда не вытанцевалась по известной уже Вам причине не доканчивать статьи вообще, а в частности еще потому, что я писал ее для сборника в пользу голодающих и ужасно торопился, ибо имел в распоряжении всего один день. В такой короткий срок трудно написать так, как хотелось бы, тем более что легенда претендует на некоторое философское значение. Собственно, не вытанцевался конец, третий хаким Ургуудзль. В проекте легенды лежала основной мыслью тенденция, что всякое личное самоусовершенствование основывается на эгоизме и на желании быть лучше других, а это ведет к таким мелочам в великом деле спасения и совершенствования, как вопросы об одежде, еде и пр. Затем, хотелось еще сказать по поводу гордыни человеческого разума, который слишком уж много по-

лагается на свою силу, но это так, мимоходом, а главное — эгоизм спасения. Светлое чувство сказки у нас совершенно утрачено, а им только и сильна истинно здоровая философия. Смешно думать, что делать, когда кругом столько нищеты, горя и слез. Цель жизни так проста и не требует никаких хитро-сплетенных рассуждений. Может быть, все это очень по-детски, но мне лично такое воззрение более понятно. Каждый человек делает решительно все, чтобы испортить жизнь и себе, и другим, потому что думает только о себе. Впрочем, я плохой философ, а сейчас развелось так много всяческой философии, что трудно даже разобраться.

Маруся Вам кланяется. Жму Вашу руку. Д. Мамин».

Не будем останавливаться здесь на идее маминской легенды и на толковании ее писателем в письме. Отметим лишь, что тут можно видеть внутренний спор с религиозно-нравственными сочинениями Льва Толстого тех лет, где идея спасения через самоусовершенствование противопоставлялась идеям революционной борьбы и что подобный же спор ведется в стихотворении Ольхина «Нашим поэтам». Остановим внимание на другом — Ольхин в письме зорко подметил то, что не заметили в легендах Мамина критики: их условную фольклорность как способ изложения своих мыслей. Когда легенды вышли отдельным изданием, рецензент одного из наиболее солидных литературных журналов — «Русской мысли» — писал о них: «Мамин-Сибиряк передает стародавние сибирские сказания, в которых вымыслы народной фантазии тесно переплетаются с подлинными историческими преданиями, сохранившимися в памяти зауральских инородцев».

И тут кстати привести письмо Мамина редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву с объяснениями по

поводу рецензии: «Ваш рецензент, разбиравший мои легенды, и обидел меня и превознес. Обидел потому, что приписал мне только роль собирателя, а превознес тем, что не мог отличить авторского сочинения от народного творчества — ergo, автор постиг самый дух...» *

Увлеченный обмен мнениями о легенде в дни, столь тревожные для Мамина, вероятно, не случаен. «При встрече поговорим...» О чем? Есть предположение, что Ольхин намеревался писать на сюжет легенды либретто оперы. В те же примерно дни Дмитрий Наркисович писал матери в Екатеринбург: «Рубинштейн присылал ко мне одного из своих адъютантов за легендой о Кучуме, из которой хочет сделать оперу... Выйдет из этого что-нибудь или не выйдет — трудно сказать»**.

Возможно, что, когда встал вопрос о либретто оперы, Мамин привлек к его созданию Ольхина (что и отразилось в позднейших воспоминаниях М. Я. Алексеевой). Однако дело с оперой заглохло — А. Г. Рубинштейн уехал на гастроли в Америку, а для Мамина вскоре наступили тяжелые дни, надолго выбившие его из творческой колеи: 21 марта родилась дочь Аленушка, а на другой день умерла ее мать, Мария Морицевна. Горе Дмитрия Наркисовича было беспредельным...

Лишь месяц-два спустя он начал приходить в себя. Ольхин не оставлял друга в эти тяжелые дни. 8 мая Мамин писал ему: «Благодарю сердечно за посаженные ивы (на могиле Марии Морицевны. — Ю. К.) и вообще за то внимание, с каким Вы относились всегда ко мне. Сегодня хотел быть у Вас, но нельзя, потому что в 2 часа открытие памятника Надсону на

* Опубликовано в «Архиве В. А. Гольцева». Т. 1, 1914.

** Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в восьми томах. Т. 8, 1955, с. 663.

Волковым, о чем и спешу Вас известить. Приезжайте туда, а оттуда отправимся куда-нибудь пообедать...»

О том, что писатель к этому времени уже смог вернуться к литературным делам, свидетельствуют последующие строки этого же письма: «...Дело с Михайловским расклеилось. Он назначил мне свидание у Станюковича и не явился, а Станюкович заявил мне, что печатание моего романа в «Рус(ском) бог(атстве)» немислимо: и места нет, и денег нет. Одним словом, дело сорвалось и они же потом пожалуют о нем».

Здесь речь идет о романе «Хлеб», над которым тогда работал Дмитрий Наркисович. Что роман еще не был закончен, а писатель уже предлагал его в печать, объясняется особенностями творческой работы Мамина-Сибиряка: «Я разучился писать большие вещи зараз, а писал последние годы «к книжке» (очередному номеру журнала.— Ю. К.) — признавался он как-то в письме к В. А. Гольцеву.

В творческой истории романа «Хлеб» тот факт, что Мамин предлагал его «Русскому богатству», не нашел отражения. Более того, авторы биографической книги «Певец Урала» (Свердловск, 1969), Б. Удинцев и К. Боголюбов прямо утверждают, что писатель и не предлагал его этому журналу. Между тем это факт немаловажный. Журнал «Русское богатство» и его идейный руководитель Н. К. Михайловский, которые считались «покровителями» Мамина, под неубедительным предлогом отказались печатать роман, и, пожалуй, именно с этих пор началось постепенное охлаждение писателя к журналу. Редакция не случайно отказалась печатать роман, рисующий стремительное вторжение капитализма в русскую деревню — это противоречило идейным воззрениям вождей либерального народничества.

В это лето Мамина особенно тянет к Ольхину.

Свидетельств их общения почти не сохранилось — живя в одном городе, им не было нужды часто переписываться. Но и те немногие письма, что дошли до нас, говорят о все более тесном сближении. 10 июля 1892 года Мамин пишет: «Дорогой Александр Александрович, пишу Вам, потому что очень и очень соскучил(ся) о Вас. Где Вы? и что Вы?.. Не приедете ли Вы ко мне погостить на денек, на два — в моем распоряжении целая дача... Кстати, и музыку послушали бы. А затем, мне серьезно необходимо посоветоваться с Вами относительно пизэ *, которые хочу пускать осенью в ход: на себя как-то не полагаюсь, потому что слишком много работал для них и потерял всякий критерий. Но и помимо этой эгоистической цели просто желал бы видеть Вас, как своего человека».

Ольхин стал для Мамина своим человеком, как это видно из приводимого письма, не только как доброжелательный друг дома, а и как друг, с которым «необходимо посоветоваться» о том, о чем не с каждым советуется — о достоинствах новых произведений. И едва ли тут речь шла только о форме их.

Но и Ольхин считал необходимым советоваться с Маминым, как опытным литератором. Об этом говорит хотя бы письмо от 14 ноября 1895 года: «Дорогой Дмитрий Наркисович, приезжайте в комиссию в пятницу 17-го ноября в 8 часов вечера. Собираются у меня. Вас все желают видеть в нашей среде, тем более что на этот раз зайдет речь об издании сборника и Вы его предполагаемый редактор. Я от души рад Вашему согласию. Оно не только будет полезно для вечера и дорого лично мне. Вы знаете, как я Вас люблю; Ваше отсутствие меня бы огорчило, несмотря на всю готовность искренне согласиться с Вашими дово-

* Так Мамин нередко называл свои небольшие произведения.

дами. Пусть это лирическая блажь. Теперь я могу об ней говорить».

Что за комиссия, в которую приглашает Ольхин Мамина, что за «наша среда», где хотят его видеть, о каком сборнике идет речь — пока, к сожалению, не выяснено. Сборник, очевидно, не состоялся — по крайней мере в библиографических указателях за годы 1896—1897 не значится такого, где бы встретилось имя Ольхина или Мамина.

Это письмо — последнее из известных пока документальных свидетельств о связях Мамина-Сибиряка и Ольхина. Жаль, что их мало и мы не можем более обстоятельно раскрыть историю этой дружбы, важной страницы в биографии писателя. Как-то так получилось, что его биографы, уделив пристальное внимание взаимоотношениям с представителями либерального народничества, прошли мимо столь значительного факта дружбы Мамина с ярким представителем *революционного* народничества. Будем надеяться, что этот пробел будет заполнен.

Александр Александрович Ольхин умер 22 ноября 1897 года. Мамин тяжело пережил смерть друга. Через несколько дней — 25 ноября — он писал матери, Анне Семеновне: «Вчера был на панихиде у А. А. Ольхина. Он умер от болезни сердца, продолжавшейся года три. Мне ужасно его жаль. Очень уж хороший был человек, хотя многим и не нравился своей иногда излишней искренностью».

«Излишняя искренность»... Бывает ли такая? За этими словами слышится неприкрытая ирония Дмитрия Наркисовича в адрес людей, не понявших красоты прямоты своего друга.

К тому времени прошло уже десять лет, как Ольхин покинул Екатеринбург, где прожил всего лишь полгода. Но здесь его продолжали помнить. Газета «Урал» в номере от 6 декабря дала некрологи-

ческую статью за подписью Старого оптимиста (Н. В. Казанцева), в которой тепло вспоминалось о жизни ссыльного Ольхина на Урале, о его дружбе с Маминым-Сибиряком. Автор статьи не упоминал при этом о «Дубинушке», но в те годы она уже была широко известна на всем Урале.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ

Из сотен черепков, найденных при раскопках стоянки древнего человека, археолог склеивает — реконструирует — кувшин, которым пользовались наши далекие предки. Архитекторы-реставраторы по старым чертежам, зарисовкам и обмерам воссоздают первоначальный облик исторического сооружения.

Реконструировать, восстанавливать можно и судьбы людей. И даже должно, если это касается несправедливо забытой личности.

До обидного неудачно сложилась посмертная судьба уральской писательницы Елизаветы Гадмер. Не прошло и полвека со дня ее смерти, а лишь кое-кто из литературоведов помнит, что была такая. А если посмотреть то немногое, что печаталось о ней за истекшие годы, то окажется, что все это как-то неполно, противоречиво, а порой просто путано и ошибочно. Не опубликован (да и не собран) список ее хотя бы основных произведений, а только отдельных изданий их насчитывается около двух десятков. Нет связной и более или менее полной биографии, не были известны ни место рождения писательницы, ни год и место ее кончины. Даже отчество называлось по-разному — одни величали Саввишной, другие Савельевной, третьи Савиновной...

Правда, шумный успех и громкая известность не сопутствовали Елизавете Гадмер и при жизни. Да и сама-то жизнь не баловала ее. Но современники чи-

тали и знали ее, особенно в кругах учащейся молодежи и демократически настроенной интеллигенции. Ее негромкий голос был теплым и искренним, проникнутым любовью к людям труда, к родному Уралу, ненавистью к угнетению и несправедливости, сочувствием борцам за народное счастье.

А вот забыта... И дело не в том, чтобы сейчас, спохватившись, начать многократно и многотиражно издавать и переиздавать ее произведения (хотя выпустить «изборник» следовало бы!), а в том, чтобы сохранить благодарную память об этой скромной труженице литературной нивы той глухой поры конца прошлого — начала нынешнего века, когда Урал был еще так небогат прогрессивными культурными силами. И в том, чтобы отвести писательнице заслуженное ею место в истории литературного процесса на Урале, в которой еще немало белых пятен.

К счастью, сохранилось главное, что дает возможность сделать это — ее публикации, ее книги. И хотя ни в одном из книгохранилищ страны нет полного комплекта их, но издания, отсутствующие, скажем, в Ленинской библиотеке в Москве, дополняются наличием их в других библиотеках. А по комплектам периодических изданий возможно восстановить и то, что не вошло в ее книги.

Сложнее с биографическими материалами. Личный архив писательницы так и не найден, по-видимому, безвозвратно утрачен. Но кое-что (и немало), оказывается, можно найти. И даже совсем близко. Например, в Свердловском литературном музее имени Д. Н. Мамина-Сибиряка хранится подробная автобиография (точнее, пожалуй, назвать ее воспоминаниями), написанная в начале 1930-х годов, и около двух десятков писем этого же периода, а также ряд стихов-автографов.

Есть материалы в Государственном архиве Сверд-

ловской области (в фонде В. П. Бирюкова), в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (в фонде В. Д. Бонч-Бруевича), в Пушкинском доме АН СССР (в фонде С. А. Венгерова), в Ленинградской театральной библиотеке (в фонде драматической цензуры)... Если поискать потщательнее, так и еще кое-где найдется. Да поскорее бы поискать, пока не пропало бесследно, как это случилось в одной свердловской семье, где с давних пор лежали письма, рукописи, фотографии и книги писательницы — архив этот сгорел при пожаре.

Однако уже то, что оказалось доступным для ознакомления, позволяет изложить основные вехи жизни и творчества Гадмер, реконструировать, хотя и с пробелами, ее судьбу.

Елизавета Гадмер родилась 4 октября 1863 года далеко от Урала — в станице Лепсинской Семиреченской области (ныне районный центр Талды-Курганской области Казахской ССР), куда обстоятельства занесли ее отца-уральца в поисках дела по душе. Родившуюся в этих скитаниях дочь называли именем матери — Елизаветой.

Ее отец был сыном известного в истории уральской горнозаводской промышленности демидовского крепостного Клементия Константиновича Ушкова, автора талантливо решенного проекта гидротехнического сооружения — знаменитой Черноисточинской водной системы и других смелых по тому времени проектов. Сыну передалась изобретательская жилка отца, пристрастие к смелым проектам и начинаниям, неугомонность натуры, но не достались его практическая сметка и деловая хватка, которые помогли Клементию Ушкову стать, оставаясь крепостным, одним из богатейших людей Нижнего Тагила. Как и отец, сын тоже вечно что-то задумывал, проекти-

ровал, организовывал, но, в отличие от него, редко доводил дело до конца. Поэтому не мог долго усидеть на одном месте, ездил по стране из конца в конец, не нашёл себе ни дома, ни положения, ни достатка, размотав и то, что выделил ему отец. Показательно, что все семеро детей его родились в разных краях, от Петербурга до Дальнего Востока.

Впечатляющую характеристику дала ему дочь в своей «Автобиографии»:

«Он вечно искал чего-то, куда-то стремился, рвался неудержимо и не мог найти себе точки опоры. Он никогда не мог быть спокойным. Работал ли, шел ли куда, разговаривал ли с кем — он словно спешил куда-то, боясь опоздать, так были порывисты и стремительны все его движения. Быстрый и беспокойный взгляд его всегда горел лихорадочным огнем.

Не получив никакого образования, он сам старался развить свой пытливый ум, страстно жаждавший знаний. Все науки интересовали его, с каждой хотелось ему познакомиться, хоть отчасти, по тем книгам, которые он приобретал себе, не сообразуясь со своими средствами. Но больше всего он увлекался химией и механикой. Голова его вечно была занята планами и проектами каких-то усовершенствований и изобретений, долженствующих осчастливить человечество, а попутно изобретались мелочи для домашнего обихода. Если бы он родился позднее, то, как страстный любитель и знаток азиатской природы, нашёл бы свое место в экспедиции Пржевальского, а как неутомимый искатель новых изобретений, был бы хорошим сотрудником в мастерских Эдисона. Но он был один и не умел подбирать себе подходящих товарищей. В этом и заключалась главная причина его неудач.

Он совершенно не умел распознавать людей и ошибался в них на каждом шагу. Нередко сближался

с негодьями, казавшимися ему честными и благородными людьми, и сторонился хороших людей, принимая их за негодяев.

Бесконечные неудачи в предприятиях и бесконечные разочарования в людях не убивали его энергии и уверенности, что когда-нибудь и он добьется успеха и найдет себе настоящих друзей.

Но этого не случилось. Он умер в нищете, в одиночестве, вдали от семьи... Обидно, что такой неистощимый запас энергии, духовной и физической силы погиб напрасно, бесплодно, как бесследно разносится ветром пепел исполинского сгоревшего дерева».

Остается только назвать его имя, чтобы знать, как же величать его дочь. Но это оказалось не так легко и просто. Сама писательница в одном из писем призналась: «При выдаче бессрочной паспортной книжки в 1908 году неразборчиво написанное отчество Савиновна мне заменили словом Савельевна. Так как мой отец не протестовал, когда его называли Савелием, то и я не стала протестовать. Теперь все зовут так, привыкла».

И все-таки, по-видимому, ее следует величать Саввишной. Дело в том, что у Клементия Константиновича было два сына, о которых он писал в прошении о вольной от 12 ноября 1841 года: «За какие (заслуги.— Ю. К.)... не говоря о себе, но только детям моим, двум сыновьям, Михаилу с женой и детьми его и холостому Савве прошу от заводов дать свободу».

То же самое имя проходит по документам, выявленным тагильским краеведом С. Панкратовым, который, кстати, установил, что Савва Клементьевич был автором проектов разных теплотехнических устройств и установок — паровой машины для шахтного водоотлива, береговой паровой машины для пере-

мещения речных грузов, машины для обработки дерева водяным паром и других.

Исследователи творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка единодушно признают, что прототипом Михея Колобова и его сына Симона в романе «Хлеб» следует считать Клементия и Савву Ушковых. Что Мамин был знаком с дочерью Саввы — Надеждой (которая, кстати, всегда писалась Саввишной), доказывают его письма к матери. Но, как ни странно, о знакомстве с Елизаветой Саввишной, так сказать, собратом по перу, свидетельств пока не найдено.

Не рядовой оказалась и история матери. Ее прадед Петер Шротер прибыл в Златоуст из Золингена, как специалист по выделке стали. А его дочь Генриетта вышла замуж уже за швейцарца Генриха Гадмера, служившего там же домашним учителем. Из-за ранней его смерти семья осталась без средств к существованию, и Генриетта, бабушка Елизаветы Саввишны, вынуждена была служить в людях то бонной, то экономкой, а дочерей постаралась поскорее выдать замуж. Одна из них, Элиза, приглянулась заехавшему в Златоуст тагильскому кержаку Савве Ушкову и в 17 лет, не чувствуя к нему никакой привязанности, стала его женой. И начались... скитания, которые были совсем не по душе мечтательной и домовитой молодой женщине, едва вышедшей из девического возраста. «Вечные переезды, вечные лишения, болезни и смерти детей — все это было ее уделом с первых же лет ее раннего замужества», — писала о ней потом Елизавета Саввишна.

В конце концов матери надоела эта неустроенная кочевая жизнь, и она, забрав оставшихся в живых детей, отправилась на Урал, к родственникам.

Переезд прошел тоже своеобразно, по-ушковски. Отец сконструировал и построил походный домик-возок, который можно было ставить и на телегу,

и на сани, так что он служил жильем при ночлегах и длительных остановках. А их предстояло немало на пути в несколько тысяч верст.

Отправив семью, отец двинулся искать счастья в других местах.

Полгода возок Ушковых добирался до Верхнеуральска, где жил брат матери Елизаветы Саввишны. В этой семье, как бы приходя в себя после длинной дороги и еще более длинного периода скитаний с отцом, Ушковы прожили полтора года. И уж только тогда двинулись в Екатеринбург, где предстояло учиться старшим детям. Лизе в то время еще только шел четвертый годок.

В Екатеринбурге их приютили родственники мужа, помогли устроиться с жильем и с хозяйством. И началась новая, не очень обеспеченная, но спокойная жизнь, по которой все они так наскучались. Этот город и стал для будущей писательницы второй, но настоящей, как она считала, родиной. Здесь она прожила почти полвека.

А скитания отца продолжались: «С переездом в Екатеринбург мы как бы потеряли отца еще при его жизни. Материальной помощью от него не пользовались, видели его мало. Хотя любовь его к нам и чувствовалась, согревала наши сердца, но воспитание мы получили всецело от матери», — вспоминала Елизавета Саввишна.

Мечтательная настроенность матери передалась Лизе больше, чем ее сестрам. Еще до того, как стать гимназисткой, она начала писать стихи. К окончанию гимназии их накопилось много — пухлая тетрадь. И когда в 1879 году стала выходить первая в городе «политическая и литературная» газета «Екатеринбургская неделя», то в лице недавней гимназистки она нашла своего автора, одного из немногих местных

поэтов. Так начался ее путь в литературе, длившийся более шестидесяти лет.

В 1884 году «Екатеринбургская неделя» задумала издать серию сборников стихотворений уральских поэтов и в качестве выпуска первого (впрочем, других не последовало) выдала «Стихотворения Елизаветы Ушковой» объемом 109 страниц. Стихи, во многом еще подражательные, скромные по литературным достоинствам, отмеченные печатью сентиментальности и созерцательности, иногда нотами уныния (молодая поэтесса болела в то время туберкулезом), все же привлекали к себе задушевной искренностью, сердечной теплотой, болью за окружающую несправедливость, желанием видеть мир светлым и радостным для всех людей.

В том же году Елизавета Саввишна вышла замуж и стала писаться Головой. Под этой фамилией вышел и второй сборник стихов, изданный в 1887 году к открытию Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге (и, кстати, удостоенный на ней похвального отзыва).

Зато почти все последующие свои сборники и отдельные публикации она подписывала уже псевдонимом Гадмер (от девичьей фамилии матери), он стал постоянным, под этим именем ее и знали читатели, как современные ей, так и последующие.

А круг читателей ширился — кроме уральских изданий Гадмер печаталась в приволжских и сибирских газетах и журналах, завязала связи со столичными издательствами. Литература стала ее профессией, ее жизнью.

Литературный труд, однако, кормил плохо, приходилось давать уроки, чтобы добавить что-то к скудному жалованью мужа. Да и не все публикации оплачивались — издатели считали, что молодой автор должен считать за честь, что его напечатали

и на сани, так что он служил жильем при ночлегах и длительных остановках. А их предстояло немало на пути в несколько тысяч верст.

Отправив семью, отец двинулся искать счастья в других местах.

Полгода возок Ушковых добирался до Верхнеуральска, где жил брат матери Елизаветы Саввишны. В этой семье, как бы приходя в себя после длинной дороги и еще более длинного периода скитаний с отцом, Ушковы прожили полтора года. И уж только тогда двинулись в Екатеринбург, где предстояло учиться старшим детям. Лизе в то время еще только шел четвертый годок.

В Екатеринбурге их приютили родственники мужа, помогли устроиться с жильем и с хозяйством. И началась новая, не очень обеспеченная, но спокойная жизнь, по которой все они так наскучались. Этот город и стал для будущей писательницы второй, но настоящей, как она считала, родиной. Здесь она прожила почти полвека.

А скитания отца продолжались: «С переездом в Екатеринбург мы как бы потеряли отца еще при его жизни. Материальной помощью от него не пользовались, видели его мало. Хотя любовь его к нам и чувствовалась, согревала наши сердца, но воспитание мы получили всецело от матери», — вспоминала Елизавета Саввишна.

Мечтательная настроенность матери передалась Лизе больше, чем ее сестрам. Еще до того, как стать гимназисткой, она начала писать стихи. К окончанию гимназии их накопилось много — пухлая тетрадь. И когда в 1879 году стала выходить первая в городе «политическая и литературная» газета «Екатеринбургская неделя», то в лице недавней гимназистки она нашла своего автора, одного из немногих местных

поэтов. Так начался ее путь в литературе, длившийся более шестидесяти лет.

В 1884 году «Екатеринбургская неделя» задумала издать серию сборников стихотворений уральских поэтов и в качестве выпуска первого (впрочем, других не последовало) выдала «Стихотворения Елизаветы Ушковой» объемом 109 страниц. Стихи, во многом еще подражательные, скромные по литературным достоинствам, отмеченные печатью сентиментальности и созерцательности, иногда нотами уныния (молодая поэтесса болела в то время туберкулезом), все же привлекали к себе задушевной искренностью, сердечной теплотой, болью за окружающую несправедливость, желанием видеть мир светлым и радостным для всех людей.

В том же году Елизавета Саввишна вышла замуж и стала писаться Головой. Под этой фамилией вышел и второй сборник стихов, изданный в 1887 году к открытию Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге (и, кстати, удостоенный на ней похвального отзыва).

Зато почти все последующие свои сборники и отдельные публикации она подписывала уже псевдонимом Гадмер (от девичьей фамилии матери), он стал постоянным, под этим именем ее и знали читатели, как современные ей, так и последующие.

А круг читателей ширился — кроме уральских изданий Гадмер печаталась в приволжских и сибирских газетах и журналах, завязала связи со столичными издательствами. Литература стала ее профессией, ее жизнью.

Литературный труд, однако, кормил плохо, приходилось давать уроки, чтобы добавить что-то к скудному жалованью мужа. Да и не все публикации оплачивались — издатели считали, что молодой автор должен считать за честь, что его напечатали

и бесплатно. Уже на склоне лет писательница с горечью вспоминала, что ей редко когда удавалось в то время получать гонорар. Даже такой солидный журнал, как «Русское богатство», ничего не заплатил ей за опубликованный стих «Бывают чудные мгновенья».

Болезненность и застенчивость не помешали молодой писательнице включиться и в общественную жизнь — не одна литература заполняла ее время и мысли. В 1891-м, катастрофически неурожайном году, когда толпы голодных из деревень наводнили город в надежде прокормиться хотя бы нищенством и, не имея жилья, ютились в ужасных условиях в заброшенных сараях, а то и просто под открытым небом, Гадмер выступила в местной газете с взволнованным призывом облегчить положение несчастных — хотя бы открыть временное убежище для бедствующих женщин с детьми. И добилась открытия такого приюта, став его учредительницей и руководительницей. На это ушло много сил, газеты и общественность благодарно отмечали ее деятельность, столь непохожую на филантропические жесты богатых барынь.

Еще одним полезным общественным делом стало открытие Елизаветой Саввишной в декабре 1893 года общедоступной библиотеки-читальни. Единственная имевшаяся в городе частная библиотека Остроумова влачила жалкое существование и совершенно не отвечала просветительским задачам. Гадмер вложила в это дело все свои скудные средства, залезла в долги, но открыла-таки библиотеку, что явилось значительным культурным событием в жизни города. В 1895 году вышел печатный каталог «Библиотеки Е. С. Головой», свидетельствующий о серьезно продуманном подборе литературы для самообразования и для ознакомления с волнующими общество вопросами. Позднее она приняла горячее участие в орга-

низации первой в городе общественной Публичной библиотеки имени В. Г. Белинского. Судя по позднейшим каталогам Белинки, Гадмер пожертвовала в ее фонды много книг из своей библиотеки.

Примечательно, что в эти годы наиболее близкими знакомыми Елизаветы Саввишны, ее друзьями стали политические ссыльные — М. А. Колосов, А. Н. Батманов, А. В. Комаров, И. И. Годлевский (один из организаторов Уральского рабочего союза) и другие.

И не случайно, пожалуй, созерцательность, сентиментальность и унылость ее ранних стихов уступает место мотивам протеста против социальной несправедливости, гражданственному настрою тематики. Не случайными оказались и завязавшиеся тогда связи писательницы с демократическими издательствами. Если первая ее «столичная» книга («В светлую ночь») вышла в 1899 году в довольно-таки всеядном издательстве И. Д. Сытина, а вторая («Подруги. Рассказы для детей») годом позже — в издательстве М. В. Клюкина, то примерно с 1902 года ее основными издателями становятся известные своей прогрессивностью (и даже «неблагонадежностью») «Вятское товарищество» с его «Народной библиотекой» и издательство О. Н. Поповой, в котором печатались многие видные социал-демократы, большевики.

К революционной ситуации 1905—1907 гг. Елизавета Гадмер подошла уже с репутацией писательницы демократического направления, сочувствующей революционному движению. Не все стихотворения той поры поэтому ей удалось опубликовать, но они были известны, особенно среди учащейся молодежи, знали их и в рабочих кружках, например, на Монетке и на заводе Ятеса.

Среди опубликованных ею в 1905 году стихотво-

рений показательна «Песня кузнеца» (газета «Уральская жизнь», 27 ноября 1905 г.). Сама Гадмер так рассказывала потом его историю в письме к А. А. Черданцеву: «Это стихотворение было написано под впечатлением первого митинга (в городском театре), на котором выступал оратором тов. Андрей. В этот вечер я составляла частицу публики, а мой сын — частицу боевой дружины, охранявшей ораторов». (Тогда она еще не знала, что под именем товарища Андрея выступал Я. М. Свердлов.)

Это произведение, пожалуй, лучшее из того, что появилось в уральской печати в тот год:

Стучи, мой молот, да сильней!
Не время уставать:
Железо пламени красней —
Пора его ковать!
Когда для жатвы хлеб готов,
Нельзя дремать жнецам!
Нельзя у пышущих горнов
Дремать и кузнецам!
И дружно, с песней боевой,
Мы молотами бьем:
Своей отчизне дорогой
Мы счастье все куем!
Нельзя ведь счастье нам найти,
А можно лишь сковать!
К нему заветные пути
Должны завоевать!
Ведь это сказка говорит,
Что счастье в сундуке,
В цепях закованном, лежит
На дне морском, в песке..
Пусть будет так!.. Сундук найдем!
Разроем все пески!
И цепи ржавые на нем
Собьем, и все замки!..
Рабы! Скорей идите к нам!
Мы цепи вам собьем!
И цепи рабские мы вам
В мечи перекуем!..
Стучи же, молот мой, сильней

И спящих всех буди!..
Не спи, народ!
Проснись скорей!
На помощь к нам иди!

Всем нам более знакомо другое, ставшее хрестоматийным стихотворение Ф. Шкулева «Песня кузнеца», опубликованное позднее (в 1906 году) в центральной печати, а потому и получившее большую популярность. Не умаляя значения сходного по мотивам и по идейной направленности произведения Ф. Шкулева, следует все же отметить, что стих Гадмер появился в печати на самом гребне общего революционного подъема на Урале и, несомненно, сыграл выдающуюся агитационную роль, оставшись для нас ярким памятником эпохи.

Примечательным было и обращение Гадмер в эти годы к тираноборческой теме. Еще в 1900 году она перевела роман Джованьоли «Спартак», бывший наряду с «Оводом» Войнич, как известно, неизменным спутником жизни и начальной ступенью политического самообразования не одного поколения русских революционеров. В 1901 году она переделала роман в драму (в 5 действиях и 14 картинах) и представила ее в драматическую цензуру (экземпляр этот сохранился в Ленинградской театральной библиотеке с разрешительной визой от 17 марта 1901 г.). Год спустя Московский театрально-литературный комитет Дирекции императорских театров на основании отзывов известных артистов В. П. Далматова и М. В. Дальского дал рекомендацию к ее постановке на сцене. Но императорским театрам она оказалась не по вкусу, а для провинциальной сцены — слишком сложной в постановочном отношении.

В 1903 году Гадмер удалось с помощью все того же «Вятского товарищества» издать пьесу отдельной книгой, и драма начала свою вторую жизнь — чита-

тельскую. А о том, что спрос на нее был, и немалый, свидетельствуют три ее издания (последнее в 1910 году). Между прочим, одно из изданий имелось в яснополянской библиотеке Л. Н. Толстого и, как можно узнать из описания библиотеки, сохранилось в весьма подержанном виде — значит, и там читали ее.

Естественно, захотелось узнать, не писала ли Гадмер Толстому. Оказалось — писала. В Государственном музее Л. Н. Толстого хранится ее письмо от 6 октября 1905 года. Оно довольно большое, но смысл его сводится к главному — стоит ли ей писать. И это спрашивает человек, печатающийся уже более двадцати лет!..

Очевидно (хотя это и не выражено напрямую в письме), вопрос вызван сложной атмосферой общественно-политической обстановки в стране, приведшей две недели спустя к пресловутому «манифесту о свободах».

«Я не знаю, есть ли у меня творческий талант, но я знаю, что не писать — это для меня значит: не жить... Моя горячая любовь к человеку и ко всему живущему неудержимо влечет меня к перу... Не откажите прочесть прилагаемые книжки... есть ли у меня что-нибудь за душой, стою ли я того, чтобы люди читали написанное мной».

Больше всего ее волнует судьба любимого детища — пьесы «Спартак». Она хотя и была издана еще в 1903 году, но так и не увидела свет ramпы. А как ей хотелось довести до сцены эту свободолюбивую пьесу о народном восстании в дни, когда и в ее родной стране назревала революционная ситуация!

«Если мой «Спартак» понравится Вам, то Вашего одобряющего слова, громко сказанного о нем, вполне достаточно, чтобы он увидел свет».

Однако ответа не последовало. События бурного октября 1905 года коснулись и Ясной Поляны —

почта не доставлялась более двух недель. Да и что мог сказать автор учения о непротивлении злу насилем автору пьесы, зовущей к борьбе?!

Продолжая тираноборческую тему, Гадмер по заданию Вятского книгоиздательского товарищества с 1904 по 1910 год перевела и обработала для «Народной библиотеки» «Дона Карлоса» и «Вильгельма Телля» Шиллера, переработала для юношества роман Н. Костомарова «Кудеяр» и «Князя Серебряного» А. Толстого. Перечень говорит сам за себя.

Драматургия вообще привлекала Гадмер. Пьесы она начала писать еще на школьной скамье. Драму «Птагмай» из жизни Древнего Египта, написанную тогда, позднее похвалил известный публицист, последователь Чернышевского, Н. В. Шелгунов («Умирающий писатель имел терпение прочесть все 5 действий пьесы и дать мне отзыв... Это письмо, ободрившее и окрылившее мою робкую непризнанную музу... совет не покидать пера стали для меня дорогим заветом, утешением в горькие минуты неудач», — писала Гадмер).

Следуя совету Шелгунова, она продолжала писать пьесы. В 1893 году труппа С. Г. Бабош-Королева ставила в Екатеринбурге ее драму «Сусанна». Отзывы критики на спектакль были сдержанными, и Гадмер переделала пьесу, дав ей и новое название — «Искушение». Под этим названием она неоднократно потом ставилась в екатеринбургском театре (а может, и в других?), а в 1896 году вышла в Екатеринбурге отдельным изданием.

В цензорском фонде Ленинградской театральной библиотеки удалось найти рукописи ее драм «Былинка» (1904), «Начинающая» (1910) и «Ундина» (1909).

Кстати, «Ундина» была задумана под впечатлением символистской пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека», ущербной и пессимистической,